

ISSN 0207—4004

Дружба

1989

1

Даугава

1989

ЯНВАРЬ (139)

1

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ.** Крутой маршрут. Хроника
времен культа личности. Продолжение 3
ВЕЛГА КРИЛЕ. Таволга. Стихи 44
МАРИС ЧАКЛАЙС. Мальчишки, слички захватили!
НИКОЛАЙ ГУДАНЕЦ. Владелец минут 59

Публицистика

- ДЗИНТРА ХИРША.** Латышский язык в Латвии 63
ВАДИМ РУДНЕВ. О билингвизме в культуре 68

Журналистское расследование

- ВАДИМ ШЕРШОВ.** Эхо трагедии 70

Культурология

- БОРИС М. ГАСПАРОВ.** Из наблюдений над мотив-
ной структурой романа М. А. Булгакова «Мас-
тер и Маргарита». Окончание 78

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Memoria

- ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ.** Манделъштам и Пастернак в читательском восприятии 20-х годов. Вступление Александра Кушнера 91
ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ. Из записей 1950—1980-х годов 96
ОЯРС ЗАНДЕРС. Первопечатники Риги 109

Обзоры, размышления, рецензии

- АНДРЕЙ ЛЕВКИН.** Четыре российских «бестселлера» 114

Искусство

- ВАДИМ РУДНЕВ.** Заметки о кинофоруме «Арсенал» 118
МАРТИНЬШ ЗЕЛМЕНИС. Иварс Пойканс: чем он занимается в латышском искусстве 123

Почта «Даугавы»

- Еще о русских в Латвии** 126
Вождь шотландских рабочих 127

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор

Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности



Глава шестнадцатая

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Ранней весной, когда по плану совхоза заканчивались лесоповальные работы, мы получили приказ этапироваться снова в центральную зону Эльгена. Там должна была произойти новая сортировка (термин «селекция», применяемый к людям, до нас тогда еще не дошел) рабочей силы, с учетом умерших и искалеченных. Потом предполагалась отправка на летний сезон в полевые бригады.

И тут неожиданно выяснилось, что сударцы — самые передовые из всех лесных работяг. Самые что ни на есть прогрессивные.

Эту нечаянную славу доставил нам тот факт, что мы осилили обратный пеший этап. Вернулись в зону на своих ногах, пройдя по тайге тридцать два километра. При этом без падежа, то есть без смертных случаев в пути. И это в то время, когда лесорубы Теплой долины, Змейки, Двенадцатого километра и многих других лесных точек так подвели начальство, проявили такую черную неблагодарность! Ведь их пришлось выволакивать из лесов волоком, да еще и закапывать дорогой тех, кого уже и волоком было не дотянуть. А ведь каждого закопанного надо еще и актом оформить. Так не бросишь! Государственное имущество, за него отвечать надо.

Год усиленного в о е н н о г о режима давал свои плоды. Резкая вспышка болезней, смертей и, как неизбежное следствие, провалы хозяйственных планов совхоза Эльген.

И тут маятник снова качнулся в другую сторону. Раздался зычный окрик сверху: «А план кто будет выполнять?» А после окрика — акции официального гуманизма, отмененные было в связи с войной. Снова открылся барак ОПЗ (оздоровительный пункт). Доходяги помоложе, которых еще рассчитывали восстановить как рабочую силу, получали путевки в этот лагерный дом отдыха. Там царила блаженная нирвана. И день и ночь все лежали на нарах, переваривая полуторную пайку хлеба.

Но и тем дистрофикам, которые не попали в ОПЗ, стали щедрее давать дни передышки. В обеденный перерыв снова стали выстраиваться перед амбулаторией очереди доходяг с протянутыми оловянными ложками в руках. В ложки капали эликсир жизни — вонючий неочищенный жир морзверя, эрзац аптечного рыбьего жира.

Теперь наш начальник санчасти Кучеренко начисто забыл свои недавние угрозы («Который лекпом зря бюллетни дает, тот сам загремит на общие»). Наоборот, сейчас он шумно умилялся бодрым видом моих сударских пациентов и одобрял меня за «сохранность рабсилы».

Тут-то и произошло нечто фантастическое: меня послали на месяц заменять заболевшую лекпомшу молфермы.

— Не соглашалась сначала начальница Циммерман, — доверительно сказал мне Кучеренко, — нельзя тюрзаков на бесконвойную командировку. Ну да я упросил на месячишко. Это тебе получше ОПЗ будет, а то вид-то у тебя тоже цинготный... Так что ваялай, лови момент, хватай калории! А там опять в лес пойдешь, на Теплую долину.

(Про Кучеренко говорили, что он такой же самодеятельный медик, как и мы грешные. Кажется, он прибыл на Колыму в качестве пожарника, но потом почему-то стал начальником санчасти в Эльгене. Он был предельно неотесан и по наружности, и по поведению. Но за ним довольно твердо установилась репутация «невредного»). Наоборот, при случае охотно делал добро.)

Молферма... Самое слово звучало для эльгенских узников как обозначение волшебной страны. Молочные реки, кисельные берега... Ферма стоит на отшибе, в получасе ходьбы от центральной зоны. И бараки там не огорожены, и вахты нет, а вохра там только для вида. Там передвигаются без конвоя из барачков в коровники, телятники, птичники, в инкубаторий. Там кормят телят и кур роскошными концентратами, шротом, рыбьим жиром и обратом. А телята и куры великодушно делятся этими деликатесами со своими заключенными воспитательницами.

Фермой руководят вольные зоотехники Рубцов и Орлов, которые никогда не называют людей террористами, шпионами, диверсантами. Они говорят — «наши доярки, наши скотницы, наши птичницы»... Они первые здороваются с заключенными женщинами.

Молферма — после лесоповального Сударя! Это все равно, как, скажем, Лазурный берег после Камчатки или сливочный торт после нашей баланды. И я буду там целый месяц? Я — существо из неприкасаемой касты тюрзаков? Жить в отдельной комнатке и спать на стоящей в углу железной койке?

Мысль о том, что я буду спать не на нарах, а на совершенно отдельном ложе, как-то возвращает человеческое достоинство. И оттого, что счастье было послано судьбой ненадолго, оно воспринималось еще острее.

Помню первую ночь на молферме. Впервые за последние несколько лет я осталась в комнате одна. Смолкли отдаленные голоса и шаги за маленьким сизым окошком. Тишина. Как давно я ее не слышала! Как запустела моя душа в мучительном чередовании автоматизма общих работ с пытками лагерного лексикона! Кажется, я уже не читаю про себя стихов. Но здесь я отойду. Стану снова собой. И стихи вернутся в тишине... Благословенное уединение, особенно неоценимое после ужасного одиночества насильственной непрерывной совместимости...

Тишина, ты лучшее
Из всего, что слышал...

На молферме работали главным образом украинки и латышки, которым посчастливилось иметь не только навыки крестьянского труда, но и «сходные» для бесконвойности статьи. Или легкие политические, такие, как КАЭРДЭ, ПЭША, пятьдесят восемь-десять. Или легкие бытовые, граничащие с политическими, вроде СОЭ или СВЭ (социально опасный элемент, социально вредный элемент). Уголовных туда не брали, знали, что их к скоту подпускать нельзя. Зато все «элементы» работали почти неправдоподобно по напряженности и самозабвенности труда. Многие спали не больше четырех часов в сутки. И не только потому, что обетованная земля молфермы спасала от жизнеопасных, голодных наружных работ, но и потому, что молфермовский труд — разумный, связанный с уходом за живыми тварями, — давал иллюзию человеческой жизни, заставлял переключаться с лагерных комплексов на заботы, достойные разумного существа.

Лектому здесь было особенно хорошо. Ему не надо было каждый день выбирать, кому из двух умирающих с голода отдать последнюю ложку рыбьего жира и как распределить кучеренковские «бюллетни», чтобы никто не умер на работе. Наоборот, здесь все боялись забюллетенить, все норовили перенести легкое нездоровье на ногах, чтобы ни на час не расставаться со своими телятами и цыплятами, чтобы не прослыть нерадивой работницей.

По вечерам моя главная работа — это массажи рук доярок, накладывание повязок на их отекавшие, растрескавшиеся до крови пальцы. С доярками в комнатешку входили теплые запахи коровника, тихие сетования на перебои с кормами, смешные имена новорожденных телок и бычков. (Их надо было весь год называть на одну букву. Вот и изощрялись. Помню, например, бычка Вельзевула и прелестную телочку Вакханку.)

Тикают ходики на стене. Доярка Августина Петерсон распаривает в жестяной ванночке свои онемевшие пальцы и степенным латышско-фермерским голосом повествует о своей любимой корове, что осталась где-то около Елгавы. Точно и не идет второй год неслышанной войны, точно не пылают печи Освенцима, точно в получасе ходьбы от нас не находится центральная зона Эльгена, а в ней Циммерманша, УРЧ, режимная часть, карцеры всех сортов.

Счастливые молфермовские дни озарились для меня еще одной нечаянной радостью — страстной дружбой, вспыхнувшей почти мгновенно при первой же встрече, напомнившей о чем-то юном и почти забытом, давшей возможность пустить на полный ход уже основательно заржавевшую душевную машину.

Вилли Руберт. Вильгельмина Ивановна, как ее звали все на молферме, где она занимала почти немислимое для заключенного место учетчика, а по сути — экономиста.

Вилли здорово посчастливилось во время следствия. Почему-то ее, работника «теоретического фронта», коммуниста с подпольным латышским стажем, жену секретаря Сталинградского обкома партии, решили «пустить» не по предназначенным для людей этого круга тяжелым тюрзаковским пунктам, а просто «по национальной линии», как любую из латышских молфермовских доярок. Всего-то ей и отвалили пять лет по сиротской статье ПЭША (подозрение в шпионаже!). Это и дало ей возможность осесть на благословенной ферме, тем более, что старший зоотехник Рубцов, зорко приглядывавшийся к окружающему, различил в ней светлую голову.

В год нашей встречи ей было под сорок, и лицо ее еще дышало

не только умом и добротой, но и женской прелестью. Особенно примечательны были глаза, очень точно отражавшие душу. «Круглые да карие, горячие до гари».

Объединила нас не только общая страсть к книгам. Мы сразу почувствовали друг в друге тревожное мучительное стремление размышлять над жизнью, несмотря на ее явное безумие. Приглядываться, сопоставлять, обобщать . . .

— И о чем это вы до самой полуночи? — дивилась Августина Петерсон, до которой через стенку доносились нескончаемые наши разговоры.

И в самом деле — о чем? Да обо всем сразу. О войне, о фашизме. О Бухенвальде и об Эльгене. О судьбе трех поколений: наших родителей, нас самих и наших детей. О великих загадках Вселенной и неисчерпаемости человеческого гения. А в промежутках о том, как весело, бывало, хрустит снег под ногами, когда бежишь по вечерней Москве. Или даже по Казани и Сталинграду. Или о том, как нравилось в юности шагать рядами на демонстрациях. И не знали, как это страшно, когда надо идти обязательно по пяти в ряд.

Мы очень торопились высказать друг другу все. Понимали: скоро расставаться. Противоестественное пребывание тюремщицы на блатной бесконвойной работе не могло длиться долго.

И вот уже на пороге милой комнатешки с отдельной железной койкой стоит конвоир. И ружье у него за плечами. Он пришел за мной, чтобы этапировать меня на Теплую долину. Этим идилическим именем обозначен глухой болотистый уголок тайги, километров за двадцать пять от центральной зоны, где зимой — лесоповал, а летом — сенокос, где нет даже барачков, а живут в самодельных шалашах и кривых продувных хавирках, где, главное, не будет ни минуты покоя, потому что там содержатся одни блатные, масса блатных.

Идем, пробираемся по весенним таежным тропкам. Опять узел за плечами. Опять тяжело хлябают по топи неотступно следующие за мной сапоги вертухая. Я остро завидую этим сапогам: ведь они не промокают. Мои-то чоботы с первых шагов — насквозь, и суставы снова, как в Ярославке, стреляют невыносимой острой болью. Впрочем, что значит невыносимой? Выношу ведь . . .

Этап, этап . . . На этот раз одиночный, так что даже словом перебраться не с кем. Вертухай какой-то попался — вроде глухонемой. Даже «давай, давай!» не говорит. Только хлябает и хлябает ножищами да сверлит спину своим автоматическим истуканским взглядом.

Да полно, был ли мальчик-то? Может, приснился мне эти тихие молфермовские вечера, отдельная койка, книги, откуда-то раздобываемые Вильгельминой, ее горячий доверительный шепот?

Перед самой Теплой долиной конвоир вдруг произносит первую за всю дорогу фразу. Первую, но зато какую точную!

— Пришли, — говорит он, — влево давай! Туда, слышь, где звери режут . . .

Они и вправду ревели. Дикий вой и мат столбом поднимались над долиной, куда была согнана толпа уголовных девок. Всплески этого мата, взрывы истерических воплей, обезьяньи взвизги разносились далеко по тайге, служа ориентиром путникам.

Здесь по воле УРЧа и начальницы ОЛП Циммерман мне предстояло обширное поле деятельности в том же остроумном варианте: половина рабочего дня медицинское обслуживание этого «производственного коллектива», другая половина — на общие работы.

Трудно себе представить что-нибудь более мучительное, чем подобное сочетание. Положение лекаря среди уголовников и так ужасно.

А тут их расправа со мной облегчается еще тем, что я должна косить в их компании сено.

Утро начиналось с того, что добрая половина девок сбегалась к тому закутку, где на пеньке были расставлены мои пузырьки. Все они требовали одного — «бюллетней». За отказ давать здоровым освобождение от работы они, изрыгая фантастические ругательства, угрожали всеми казнями, какие только могло изобрести их патологическое воображение. Больше всего отпечаталось у меня в памяти обещание «полоснуть бритвой по гляделкам». Мне очень ярко представилось, как я стою слепая, окровавленная, с протянутыми вперед руками, окруженная гогочущим зверьем.

Но проявить свою устрашенность — смерти подобно. Обмирая от ужаса и отвращения, надо было спокойно, даже с улыбкой, говорить: — Ну что вы, девчата! Разве вы не знаете норму на бюллетени? На нашу командировку не больше двух-трех в день, а вас вон сколько! Давайте по очереди. Сегодня вы, Лида, у вас температура повышенная, и вы, Нина, из-за фурункула под мышкой.

(Говорить с ними вежливо и обращаться на «вы», невзирая на все, что они изрыгают, было моим правилом. Необычность такого обращения иногда в какой-то степени охлаждала их.)

Новый взрыв проклятий, угроз, сквернословия. Появление вохры, водворение «отказчиц» в карцер. А после амбулаторного приема — на работу, на общие сенокосные работы, рука об руку с теми же милыми пациентками.

Но теперь мне легче было переносить все это. Я знала, что где-то, не так уж далеко от Теплой долины, есть земля обетованная — молферма. И время от времени мне приходили оттуда ободряющие сигналы: записки от Вилли, передачи с хлебом и сахаром. Сигналы эти прибывали с оказией: то с завхозом командировки, то с новыми маленькими этапами. В записках Вилли обнадеживала: зоотехники хлоппочут за меня перед УРЧем, перед Циммерманшей. Просят направить меня на ферму. Не лекарем, а птичницей. Не знаю уж, какая у них для этого аргументация, но надежда есть. Надо только запастись терпением.

Терпения у меня было немало. Его хватало на непосильный труд, на голод, на жизнь в рабстве. Но вот к существованию среди уголовных я никак не могла притерпеться.

Это были существа, чуждые и непонятные мне в такой, скажем, степени, как нильские крокодилы. Никакой «обратной связи» у меня с ними не получалось. Иногда я даже начинала упрекать себя. Надо почаще вспоминать о том, что привело их к такому падению. Думала о Достоевском. Старалась внушить себе, что через оболочку этих порочных людей должны же сквозить черты «несчастливого брата». Но мне так и не удалось вызвать в себе не только просветленного сочувствия к ним, но даже простейшего понимания их душевных движений. Преобладала боль не за них, а за себя, за то, что чьей-то дьявольской волей я обречена на пытку более страшную, чем голод и болезнь, — на пытку жить среди нелюдей.

Особенно потрясали меня их так называемые «замостырки», то есть членовредительство, связанное порой с ужасными мучениями. И все ради того, чтобы не работать, «припухать» на нарах. Помню девушку Зойку по прозвищу «психованная». Уродлива, вся в черных рябинах, она вызывала острое физическое отвращение даже у своих соседей по нарам. И вот однажды она вдруг сваливается с температурой сорок. Мечется в жару, впадает в беспамятство, а я извожусь, не зная,

как отправить ее из таежной глубины в больницу, опасаясь, не тиф ли у нее, который пойдет косить в этой тесноте и грязи.

Только на третий день я обратила внимание на ее ступню, обмотанную тряпками. Она оказала бешеное сопротивление моим попыткам размотать тряпки и взглянуть на ногу.

— Точно тебе говорю, лекпом: замостырка! — воскликнул командир вохры, наблюдавший эту сцену.

Он неожиданно резко рванул тряпку и обнажил Зойкину ступню. То, что мы увидели, заставило побледнеть даже вохровца. Большой палец ноги был пробит насквозь ржавым толстым гвоздем, торчавшим по обе стороны черно-синего распухшего пальца. Вокруг гвоздя — зловонное нагноение.

Этот случай был, конечно, из ряда вон. Но искусственные нарывы, сделанные впрыскиванием керосина под кожу, гнойные конъюнктивиты от порошка (соскобленного с химического карандаша), засыпанного в глаза, — все это были повседневные явления моей медицинской практики на Теплой долине.

Минутами я опасалась за свой рассудок. К счастью, в это время в эльгенской зоне объявилась еще одна медсестра с более легкой, чем моя, статьей. И ее прислали на Теплую долину вместо меня, а меня перебрали на общие работы, на другую точку таежного сенокоса.

Сенокосная точка, названная «Новая Теплая долина», располагалась еще дальше в глубине тайги. Собственно, и точкой-то ее пока нельзя было назвать. Нам предлагалось самим построить себе шалаши. В помощь нам были выделены две кривоногие белые лошаденки-якутки. И эти лошаденки, и характер окружающего пейзажа — все напоминало нашу планету во времена, непосредственно следовавшие за всемирным потопом. И все-таки я была рада. Здесь не было блатных. Были только нормальные хорошие люди: шпионы, диверсанты, террористы.

Косу я взяла в руки впервые в жизни. А косьба по кочкам — дело сложное даже для опытного косаря-мужчины. Косили мы босиком. Двигались рядами, размахивая косами, пыхтя и задыхаясь, брели по болотам, хромая на кочках. К ночи возвращались в самодельные шалаши. Все мы были мокрые и вымазанные тинной до пояса. Плотно намоченные юбки били по ногам. Те, у кого были «справные» чоботы, пытались сначала уберечь ноги от ледяной воды. Но обутые ноги еще хуже увязали в студенистой трясине.

Через полмесяца такой работы я снова ощутила ту странную легкость в теле и постоянную пелену перед глазами, которые я знала уже и раньше как признаки приближения смерти. Норму выработать нам было не по силам. Пайка уменьшалась. Правда, мы топтали ногами несметное богатство — лилоеюющие нежным бархатом заросли таежной ягоды — жимолости. Но мы так ослабевали к концу рабочего дня, что не в силах были наклоняться для сбора ягод. К тому же ударили ранние морозы, и мы пропадали теперь от холода в наших самодельных шалашах.

Однажды утром я очень испугалась, когда почувствовала, что почему-то не могу поднять голову. Потом разобралась — ничего страшного, просто моя коса накрепко примерзла к соломенному изголовью, потому что в щели шалашной самодельной двери намело за ночь много снега и мокрой изморози. В ужасе, что опаздываю на развод, я стала отрывать волосы по прядкам. И в этот самый момент в шалаш вошел веселый женолюбивый вохровец Колька, по прозвищу Вологодский, засланный

в глубину тайги за провинности — сожительство с заключенными женщинами.

— С вешой, — весело сказал он, явно радуясь за меня. — Спецнаряд на тебя пришел. На молферму пойдешь? Птичницей . . .

И с уважением добавил:

— Ты что, на воле-то по этому делу, видно, была? Лично тебя требуют. А то, вишь ты, поголовье кур у них уменьшилось . . . Только, слышь ты, транспорта нет. Пешком топать! Дойдешь? Сам тебя поведу. Мне тоже в поселок позарез надо. Так как, дойдешь? Километров тридцать с гаком . . .

Дойду ли? О Господи! Ползком доползу . . . Так, говорите, уменьшилось там куриное поголовье? Ну конечно, кто же, кроме меня, в силах остановить такое бедствие! Дорогая моя Виллечка! Золотые вольные зоотехники Рубцов и Орлов . . . Чем вы взяли неподкупную Циммерманшу?

Увязываю в узел мое окончательно обтрепанное барахлишко. Тороплю Кольку Вологодского. Вологодский конвой вообще самый лучший, это общеизвестно. Не сравнить же его с украинским или ташкентским. Так что если начну совсем падать с ног, то Коля и отдохнуть разрешит, парень славный . . .

А впереди — молферма. Земля обетованная. Молочные реки, кисельные берега . . .

Глава семнадцатая

БЛЕДНЫЕ ГРЕБЕШКИ

Я стою в центре огромного сарая-птичника с полным ведром в руках и в отчаянии поднимаю его над головой. Ведро тяжеленное, в нем комбикорм, так называемая «мешанка». Ее надо равномерно рассыпать по кормушкам.

Но птицы совершенно как люди — не отличают друзей от врагов и так же готовы убить друг друга за то, чтобы лишний разок клюнуть. Я еле открыла дверь в курятник, потому что в ожидании кормежки все поголовье сгрудилось у дверей. Потребовалось все напряжение сил, чтобы протиснуться. И тут . . . Тут они все бешеной сворой в несколько сот голов кинулись с кудахтаньем на меня, на ведро, на мешанку.

В один миг рушились все мои хрестоматийные представления о курах как о самых безобидных существах на свете. Дескать, «оробей, загорной — курица обидит». А что вы думаете? Еще как обидит! Про петухов уж и говорить нечего. Они с диким гоготом и кукареканьем клюют мои голые, без чулок, икры, с лету вспархивают на ведро, грозя перевернуть и опрокинуть его. Один крупнейший петушина, похожий на царского генерала, взлетел ко мне на плечо и осыпает меня оттуда нестерпимыми оскорблениями. А другой, попроще, вроде пьяного разухабистого мужичка, взобрался мне на голову и тоже сыпет отборной бранью. Ох, идиоты! Ведь я иду кормить вас . . . Что же вы делаете?

Не знаю, как бы я совладала с этой стихией, но подспевает спасение в лице старшей птичницы Марии Григорьевны Андроновой. Она спокойно берет у меня ведро и за две минуты распределяет его содержимое по кормушкам, предварительно ответив на петушинные выпады не менее колоритными образчиками русского фольклора. Меня она посылает на кормокухню принести еще пару ведер.

В мрачнейшем настроении возвращаюсь я, неся еще два тяжелых ведра. Все пропало. Вилли предупреждала меня, что самое важное — ужиться с Андронихой. А это будет не так-то просто, поскольку она пуще всего не терпит этих интеллигенточек, которые оملеты жрать умеют, а ручки боятся пометом выпачкать. Она, колхозный агроном, еще на воле этих барыnek не переваривала. Потому что, хоть она и отсидела пять лет, да и сейчас на материк не выпускают, но все равно за бездельников она заступаться не станет. Может, кто думает, она задается, что по вольному найму сейчас работает уже полгода? А вовсе и не потому. А просто ведь это — живые твари и с ними надо по-настоящему обращаться, хоть они и порядочные гады, эти итальянские леггорны. Не сравнить их с нашей русской курицей, у наших совесть есть. Но все равно! Это тебе не лесоповал и не мелиорация. Там знай себе, тюкай помаленьку, не надрывайся, лишь бы день прошел. А здесь работать надо, как на материке. Какая ни на есть, а живая тварь . . .

Все это я уже слышала в передаче Вилли. Знала, что кого-то уже сняли отсюда за неважное отношение к курам, а главное — за неумение ужиться с Андронихой.

И вот стою как убитая и сквозь слезы смотрю на угомонившееся поголовье, азартно клюющее теперь, как положено, из кормушек, выстроившись в стройные ряды. Не сладила я с ними . . . Неужели опять лесоповал? Или сенокос?

— Ну чего расстраиваться-то? — вдруг отрывисто бросает Андрониха, грозная Андрониха. — С этими сволочами и каждый не сразу сладит. Ведь это не простая птица, а колымская. К ней подход надо особый. И хоть природа у них благородная, итальянская, но только осатанели они тут на Колыме. Известно, заграничники условий наших не выдерживают. Да и вправду несладко им тут. Обратите внимание на гребешки. Замечаете?

Только тут я и заметила. Так вот почему все куриное стадо выглядит каким-то блеклым, лишенным своей обычной веселой расцветки. Раньше я подумала: это оттого, что они все белые, нет среди них ни курочки-рябы, ни петушка-пеструна! А оказалось, главным образом оттого, что гребешки у всех — и у кур, и у петухов — не красные, как им положено, а еле розовые, с бледно-желтым мертвенным оттенком.

— Авитаминоз! — хмуро бросает Андрониха. — Такие и яйца от них: желток от белка не отличишь. Тут если кое-как работать, так они за неделю все окочурятся.

Того же опасается и ветврач Колотов, тоже бывший зэка, но уже давненько освободившийся и живущий тут же, при ветпункте молфермы. Почти ежедневно он заходит к нам на птичник, и вместе с Андроновой они чего-то колдуют над птицами и вместе убиваются.

— А ну-ка, покажь того, что с глазом, — говорит ветеринар.

Дальше происходит нечто, явно относящееся к черной магии. Андрониха с минуту смотрит на толпу птиц своими цепкими, круглыми, тоже немного птичьими глазами и потом ловким безошибочным движением хватает за хвост и подает Колотову именно того единственного петуха, у которого болит глаз. Того самого! Одного из нескольких сот, белого, как и все, с таким же бледным гребешком, как у всех.

Оказывается, у петуха на глазу образовалось нечто вроде бельма, и это тоже авитаминозное явление. И птичица и ветврач страшно беспокоятся: не пошло бы такое поветрие по всему птичнику. Врач назначает больному мазь. Потом они с Марией Григорьевной долго

толкуют о том, как еще можно изменить к лучшему рацион, режим дня птиц, освещение птичника.

— Э-эх, на травку бы их . . . Да под солнышко!

Чтобы приучить меня к делу исподволь, Андропова предлагает мне работать первую неделю в ночной смене, когда куры спят. Ночью всего две заботы: температуру держать, то есть таскать дрова и топить печи, а второе — следить, чтобы не было отхода. Как же за этим следят? А заходить почаще с кухни, где ты печи топишь, в корпус, где куры маются. Как заметишь, что которая-нибудь задумалась, загибаться начинает, сразу — топор в руки и голову ей долой!

Я еще никогда в жизни никому, в том числе и курам, не сносила голов, и слова моей «старшей» приводят меня в ужас. Но тут же возникает яркое воспоминание о лесоповале, о сенокосе, о блатнячках с «замостырками» — я начинаю подобострастно улыбаться, понимающе кивать головой. Вроде бы, для меня нет ничего более простого и естественного, чем рубить головы тем, кто «начинает загибаться».

В первую же ночь произошла катастрофа. Хоть я и не присела ни на минуту, все время обходя свое воинство, мирно дремлющее на длинных насестах, но уловить то роковое мгновение, когда кто-то из них «задумывается», мне не удалось. Я услышала только короткий стук падающего тела. И еще . . . И еще . . . Они валялись теперь на засыпанном опилками полу, неподвижные, холодеющие.

Отход. Страшное слово. Андропова славилась именно тем, что в ее владениях не было отхода. И вот за мою первую ночь — три головы. Я опозорила Марию Григорьевну, опозорила Вилли, которая ручалась за меня, добиваясь с таким трудом моего назначения на эту спасительную для жизни работу. И себя я погубила. Не вылезти мне теперь с общих работ.

Я сидела на корточках, застыв в скорбной позе над мертвыми курицами. Отчаяние мое было такой примерно степени, как если бы покойницы приходились мне тремя родными сестрами.

И вдруг . . . Вдруг скрипнула дверь, и крупными, быстрыми, почти мужскими шагами вошла Андропова.

— Так и знала! Вот не могла заснуть — и все! Хоть и устала, как собака. Дай, думаю, схожу, посмотрю . . . Скорее! Кипяток есть?

Да, он был. Я вскипятила большой бачок, собираясь мыть пол на кухне.

— Снимайте бачок с печки! На пол его! — командовала Андропова, подбирая мертвых кур.

Через секунду в ее руках был топор, а еще через несколько мгновений все три покойницы были обезглавлены. Теперь Андропова держала в каждой руке по курице, вцепившись в хвосты, и изо всех сил трясла их. Я схватила третью и начала копировать движения моей начальницы. Мы выбились из сил, но наконец достигли цели: с тушек медленными струйками начала стекать кровь.

— Еще! Еще! Чем больше стечет, тем лучше. Счастье, что трупное околение еще не успело наступить. Точно чужая я . . . А теперь — в кипяток!

Через полчаса тушки были очищены от перьев и лежали на табуретке, имея самый пристойный съедобный вид и напоминая давно забытый прилавок мясной лавки.

Андропова вытерла рукавом лоб и присела на скамейку.

— Ну, что молчите? Думаете небось своими интеллигентными мозгами, что, мол, Андрониха — чудище? Дохлятину сдает за первосортное мясо. А вы-то подумайте, что ведь они не от болезней падают, а от

авитаминоза. Чистенькие, здоровехонькие, только жить у них больше сил нет. Сами начальству в суп просятся. И ничего нашим начальничкам с них не сделается, сожрут за милую душу и косточки обглодают. Проверено. А теперь, если с другого боку подойти: ведь наша дирекция совхоза только цифру понимает. Им само главное — чтобы в графе «отход» прочерк стоял. Нету, мол, у нас его, отхода, потому как мы самые передовые и преобразуем колымскую природу. И не поставь мы этого прочерка, а поставь правдивую чистую цифру, так тут погром пойдет, люди пропадут. Всех заключенных птичников на общие работы погонят, а нас, бывших ээка, вроде меня грешной, во вредительстве обвинят и опять в кутузку. Да и курам тоже беда. Потому что, если выгонят нас, кто по совести работает, а поставят каких-нибудь бессовестных вольняшек, так у них не по три в ночь, а все подряд передохнут. Вот так-то . . . Ну, теперь вы знаете, как в случае чего. Сама я виновата, намеком только вам объяснила, а вы не поняли . . . Ну, я пошла. Устала, как собака. Да и голодна, как шакал.

Это была ее излюбленная триединая формула: набатрачилась, как вол, устала, как собака, голодна, как шакал . . . Она любила «резать правду-матку», не признавала «никаких экивоков» и «сантиментов с сахаром». Все свое горькое сердце вымещала она на курах и петухах, ради которых, впрочем, готова была работать круглые сутки.

— Хотите научиться, так присматривайтесь, — сказала она наутро после первой моей трагедийной куриной ночи.

И я не пошла спать после ночной смены, а весь день ходила за ней по пятам, изучая каждое ее движение. От того, научусь ли я управляться на птичнике, зависела сейчас моя жизнь. И я научилась.

Я поняла, каким приемом надо взваливать на плечи пятипудовый мешок с зерном, чтобы он не свалился. И как передвигать огромные яйчики с яйцами, чтобы не перебить их. И как рациональнее выскабливать полы птичника, очищая их от помета, а потом выносить мешки с пометом во двор и сваливать в кучу на удобрение. И как быстрее таскать ведра с водой, чтобы не матерился водовоз Филька. И многое, многое другое.

Рабочий день начинался и кончался в темноте, длился с пяти утра до десяти вечера. Спала я теперь только на спине, с руками, закинутыми за голову. Руки обязательно должны были лежать свободно, чтобы хоть немного отойти за короткую ночь. Вот когда я впервые по-настоящему поняла, что означают слова народной песни: «Болят белы рученьки со работушки!»

К птицам я тоже пригляделась. Научилась отбивать их атаки на ведра с мешанкой, равномерно распределять корм по кормушкам, собирать яйца из гнезд (руки мои были вечно исклеваны в кровь), научилась даже отыскивать в птичьей толпе пациентов ветеринарного врача Колотова.

Все я делала добросовестно, даже сверхдобросовестно, хотя никакой симпатии к своим подопечным не испытывала. Куры без конца склочничали как с птичницами, так и между собой. Они занимались именно мелкой домашней перебранкой, высовывая головы из своих гнезд, как бранчивые соседки из окон коммунальной квартиры. А петухи — те устраивали разухабистые пьяные драки, разбивая друг другу головы в кровь. И еще долго после драки они воинственно махали крыльями и выкрикивали из разных углов гнусные ругательства. Так что любить их было абсолютно не за что.

Только когда выпадало работать в ночной смене, когда я видела их спящими, иногда возникало к ним чувство жалости. Я обходила корпус, разглядывая их жалкие нахохлившиеся на длинных нашествиях

фигурки и свесившиеся набок бледные гребешки, и вспоминала о том, что они лишены солнца и зеленой лужайки, что нет у них ни масляной головушки, ни шелковой бородушки, как у их материковских собратьев. Что-то в этих нашествиях напоминало наш барак ночью, наши сплошные нары. В этих живых существах, спящих тревожным сном, определенно улавливалось нечто общее с нами. Тоже невольники. Тоже авитаминозники. Тоже — всегда топор над головой.

Однажды я так углубилась в это странное чувство, что не заметила, как открылась дверь и вошла Андропова. Она частенько прибегала среди ночи, видно не очень-то надеясь на мою понятливость. Обычно она сразу засыпала меня вопросами. Все живы? А рыбьего жира добавляла в мешанку? А Колотов больше не приходил? Кормушки-то с содой мыла или так?

Но на этот раз она как-то внимательно посмотрела на меня и вдруг спросила:

— Жалеете их, сволочей, да? Стоят они того, подлюки! Все руки исклевали . . .

И вдруг ни с того ни с сего начала рассказывать про Клаву, которая тут до меня работала. Наверно, мол, я слышала, что Клаву эту отсюда из-за нее, из-за Андроновой, сняли? Ну да уж чего там! Знает она отлично, что интеллигенточки из тюрзака ее за это и фурией, и еще по-всякому чествуют . . . А того они не знают, как эта Клава над птицами издевалась. В немые кормушки мешанку сыпала, поилки отродясь не мыла, а в ночь, бывало, только кухню топил чтобы самой-то тепло. А эти пусть там в корпусе на нашествиях мерзнут. Ей лишь бы дрова не носить! Сама, понимаете, спасается, а живая тварь пусть себе погибает, благо сказать ничего не может . . . И пусть эти интеллигенточки как хотят ее, Андронику, обзывают. Фурия так фурия! Она, конечно, человек простой, агроном колхозный, в университетах лекций не читывала. А над скотиной или там над птицей она издеваться не позволит.

А еще через несколько дней, когда я попросилась сбежать в лагерную столовку пообедать, Андропова заворчала:

— Чего там пустую баланду хлебать! Возьмите вон горшочек да принесите свою порцию сюда. Мы ее тут простоквашкой куриной забелим, да яичко битое туда толкнем. Вот и будет у нас суп-ротатуй первый сорт. И мне в столовку не бежать. В вольной-то столовке для бывших зэка та же баланда, только еще деньги за нее плати!

С того дня мы начали обедать вместе, хлебая, как это принято в лагере, из одной миски. Мы поливали лагерную кашу рыбьим жиром, позаимствованным у кур. Варили овсяный кисель из птичьего овса. Наконец ежедневно съедали три яйца на двоих — одно в суп и по одному в виде натурального деликатеса. (Больше брать мы не хотели, чтобы не снижать показателей яйценоскости. По ним судили о нашей работе.)

К лету я настолько физически окрепла на этом питании, что могла уже снова, отвлекаясь от собственной участи, задумываться над общими вопросами. Что будет со страной? Ведь в это лето сорок второго года германские фашисты стоят на Волге. На Волге! Но все эти общие тревоги ложились на глубинную, самую страшную: уже год, как я ничего не знала о моем старшем сыне.

Грозная Андрониха, привязавшаяся ко мне вопреки моей принадлежности к ненавистному ей племени «интеллигенточек», утешала меня в своей обычной манере. «Как пришли, так и уйдут!» — это о фашистах. «Никуда не денется, письма не доходят. . .» — это о моем сыне. Но в душе она тоже беспокоилась и, чтобы утешить меня, даже доставала

мне из вольной библиотеки книги и не возражала, если я на ночных дежурствах выбирала иной раз часок, чтобы почитать.

— Глядите только, не засните над книгой! — предупреждала она. — А то сейчас наш старший зоотехник, говорят, бродит, по ночам, ловит, не спят ли люди на дежурстве.

И действительно, в одну из ночей зоотехник Рубцов, как Гарун аль Рашид, неожиданно предстал передо мной на пороге.

Уже больше шести лет мне не приходилось общаться с обыкновенными свободными людьми, не тюремщиками. Поэтому я разволновалась, когда этот вольный человек, специалист, член партии, приехавший на Колыму по договору, уселся на табуретку с явным намерением побеседовать со мной.

— Что читаете?

Я читала мемуары мадам де Севинье, рваную пожелтевшую книжонку из приложений к «Ниве» за какой-то допотопный год. Рубцов скользнул по ней глазами. Нет, ему хотелось поговорить о другом.

— Ну как, скажите, довольны вы сейчас жизнью, работой? По-моему, здесь вам неплохо. И тепло, и сытно, и вот даже на чтение можно выкроить часок.

Интонация у него была тревожная, как бы требующая ответа на какие-то другие, невысказанные, но куда более важные вопросы. Было ясно, что человек отнюдь не бахвалится своим либеральным отношением к рабам, а наоборот, опасается, не похож ли он сам на рабовладельца.

(Я употребляю эти термины без всяких претензий на определение общественно-экономической формации. Просто к тому времени слово это уже вошло в колымский быт. Я сама как-то слышала, как вольный бригадир кричал в телефонную трубку: «Пришлешь там рабов человек семь-восемь». Правда, потом он засмеялся и сказал, что «раб» — это сокращенное от «работяга».)

Зоотехник Рубцов был, как говорили, не из тех людей, что на все закрывают глаза. Вилли рассказывала мне о его частых столкновениях с директором совхоза Калдымовым (о котором речь будет впереди). А человечность Рубцова по отношению к заключенным мы ощущали ежедневно на себе. Поэтому я с искренним уважением ответила ему:

— Спасибо вам! Здесь, на молферме, точно на другой планете. Я рада, что вы член той партии, в которой и я состояла раньше, до того, как стала тем, чем вы меня сейчас видите. Я просто очень рада, что там еще остались такие люди, как вы.

— А кем я вас вижу? Птичницей! Почетная работа!

Тут я не выдержала.

— Конечно! Если бы это было моей настоящей профессией. А так — нерационально вроде. Сначала учить, давать ученые звания... Потом отправлять на лесоповал или в виде величайшей милости — на птичник. Кстати, если помните, крепостник прошлого века Фамусов, прогнав-вавшись на свою крепостную девку, грозил ей птичником как репрессией. «Изволь-ка в избу, марш, за птицею ходить!» Прошло больше ста лет. И сейчас я, научный работник, таскаю мешки куриного помета с чувством, что мне оказано большое доверие, и со страхом — не выгнали бы опять на лесоповал. Но это, так сказать, в широком плане. А в частности-то, я бесконечно благодарна вам. Давно бы уж дошла в тайге, на сенокосе.

Рубцов смотрел на меня все внимательней. На его суховатом умном лице отражалось и напряженное внимание, и одновременно какое-то смущение.

— Да, нелепостей много. И непонятностей тоже. — Он помолчал. — Но по сравнению с общими работами ведь здесь и вправду лучше вам?

— Еще бы! — Я засмеялась и быстро зашелестела страницами мемуаров мадам де Севинье. — А-а-а... Вот это местечко! О судьбе инсургентов. Вот она пишет: «Несчастные так устали от колесования, что повешение казалось им чистейшим отдохновением...» Недурно?

Старший зоотехник коротко хохотнул. Потом протянул мне руку.

— До свиданья. Извините, я нарушаю приличие. Дама должна протягивать руку первая.

— Это в данных обстоятельствах несущественно. Важнее, что вы нарушаете режим. Вольные не должны протягивать руку заключенным.

Он крепко сжал мою ладонь и, быстро повернувшись, вышел.

Иногда на ночное дежурство заглядывал и второй зоотехник — Орлов. Этот был беспартийный, много повидавший в жизни и, как говорили, поторопившийся приехать на Колыму в качестве вольного, чтобы не пришлось поехать иначе. Был он костромской, страшно жал на букву О, цитировал наизусть Пришвина и весь загорался, когда речь заходила о деревне. Похоже, что колхозные боли волновали его даже сильнее, чем все то, что он видел здесь, в совхозе Эльген.

— А ведь это неплохо, что вы поработаете у нас на птичнике, — сказал он мне как-то, — вот освободитесь скоро (он вечно твердил, что скоро всех выпустят), так по крайней мере будете знать, что такое колхозный труд.

Он был прав. Я сама нередко думала об этом, сгибаясь под тяжестью очередной многопудовой ноши. Было у меня, в моей прошлой жизни, одно постыдное воспоминание. Как-то, году в тридцать четвертом, я была в газетной командировке в одном татарском селе. Однажды мне пришлось что-то брать из рук в руки у моей ровесницы, молодой колхозницы по имени Мансура. Кажется, яйца она мне продавала и вот отсчитывала их. Только вдруг на какой-то момент наши руки оказались вплотную одна к другой. И Мансура сказала: «Э-эх, ручки! Красота!»

Сказала она это без всякой задней мысли. Просто ей действительно понравились мои тоненькие, беленькие, наманикюренные пальцы. Они так рельефно вырисовывались на фоне ее большой разработанной красно-коричневой руки, с набрякшими венами, с потрескавшимися пальцами и обломанными ногтями. Она-то не хотела меня обидеть, но я сама вдруг увидела эти две руки — мою и ее — крупным планом, как в кино. И испытала жгучий стыд. С этими ручками я приехала поучать ее, как коммунизм строить. Много раз потом, в одиночке, когда мысленно тысячекратно составляла свой некролог, это воспоминание возникало и мучило.

А сейчас... Прав зоотехник Орлов. Сейчас у меня руки точно такие, как были у той Мансуры. За год работы на эльгенском птичнике я впервые по-настоящему поняла, что такое крестьянский труд. Именно крестьянский, а не просто каторжный, как на лесоповале или сенокосе.

Как осмысленно и человечно могли бы мы жить теперь, если бы можно было выйти отсюда! Отказавшись от всех незаслуженных привилегий... Согласно дела с мыслями...

Да нет, это тоже иллюзия. Мы вообще, наверно, уже не смогли бы жить. От усталости. Перетянул бы «бледный гребешок» — та обесцвеченная авитаминозом и страданиями часть души, которая так и тянет свалиться с насеста, коротко стукнуться об пол и застыть в блаженстве небытия.

В ЧЬИХ РУКАХ ТОПОР

Иногда приходится слышать от людей, переживших сталинскую эпоху на воле, что им было хуже, чем нам. В какой-то мере это верно. Во-первых, — и это главное, — мы были избавлены судьбой от страшного греха: прямого или косвенного участия в убийствах и надругательствах над людьми. Во-вторых, ожидание беды бывает порой мучительней, чем сама беда. Но в том-то и дело, что страшаясь с нами страшная беда не освободила нас от постоянного изматывающего ожидания новых ударов.

Особенность нашего эльгенского ада заключалась в том, что на его двери не было надписи «Оставь надежду навсегда». Наоборот, надежда была. Нас не отправляли в газовые камеры или на виселицы. Наряду с работами, обрекавшими на гибель, у нас существовали и работы, на которых можно было уцелеть. Правда, шансов на жизнь было много меньше, чем на смерть, но они все-таки были. Призрачная, трепещущая, как огонек на ветру, а все-таки брезжила надежда. А раз есть надежда, то есть и страх.

Так что не было у нас преимущества бесстрашия, не могли мы сказать, что уже не прислушиваемся к шагам, не приглядываемся к теням, не могли чувствовать себя как люди, которым окончательно нечего терять . . . Ого, еще как я боялась потерять своих кур с бледными гребешками, и свою Марию Андронову, и свою Вилли, и возможность батрачить от зари до зари, но не на открытом воздухе, а в п о м е щ е н и и.

И не я одна. Все, особенно те, кому удавалось вырваться хоть ненадолго с общих работ, жили в вечном страхе. Этапы. Карцеры. Доносы «оперу». Заведение новых дел с возможными смертными приговорами. Было, было чего ждать и чего бояться.

Больше года длился мой птичник, и каждый день сжималось сердце при виде появившихся на ферме официальных лиц: нарядчика из центральной зоны, режимника, работников УРЧа. Ох, что-то, кажется, посмотрел на меня очень пристально! Вот сейчас скажет: «С вещами!» О Господи, пронеси! Идет мимо . . . Значит, не в этот раз. И пятипудовый мешок за плечами кажется легкой и радостной ношей. Пронесло. А на завтра — опять . . .

Андрониха дает мне отличные производственные характеристики. Благородные зоотехники уже дважды премировали меня «за показатели яйценоскости» телогрейкой первого срока и крепкими чоботами. Но все равно . . . Ведь не в их руках наша судьба, не они вольны в наших «животе и смерти». Не в их руках занесенный над нашими головами топор. А в чьих же?

В течение почти всего многолетнего эльгенского периода фактическими хозяевами наших жизней были двое: начальница эльгенского лагеря Циммерман и директор совхоза Эльген — Калдымов.

Калдымов, как это ни странно, был философом. Философом по профессин. Он окончил философский факультет и преподавал где-то диамат. На Колыму он приехал добровольно и, как говорили, в связи с деликатными семейными обстоятельствами. Его дочь, четырнадцатилетняя школьница, неожиданно родила ребенка. Захватив юную мамашу с младенцем, Калдымов якобы решил заехать подальше, спасаясь от злых языков.

Был он высок, плечист, с густым малиновым румянцем, с несокрушимыми белыми зубами. Во всем его облике, в движениях, в походке, в том, как он скакал по совхозным полям на коне (обязательно — на белом) чувствовалась закованность крестьянской мордовской семьи, в которой он принадлежал к первому поколению, получившему образование. В работу он, что называется, вникал лично, и если судить по выполнению планов, то вроде и неплохо руководил этим таежным колымским совхозом с его заключенной «рабсиллой», которую правильнее было бы назвать «рабслабостью», поскольку все едва волочили ноги.

Он отдавал себе в этом отчет и вел свое хозяйство именно как экстенсивное, основанное на рабском ручном труде, на частой смене «отработанных контингентов». Когда ему докладывали об очередных вспышках «падежа» заключенных, он отвечал: «Новых получим. Поеду в Магадан. Добьемся». Он считал, что куда эффективнее поехать в Магадан и добиться там свежих этапов, чем возиться с полумертвецами из политических эшелонов тридцать седьмого года, укладывая их в ОПЗ и выдавая бездельникам повышенные пайки хлеба. Особенно выгодны были «свежие контингенты» в эти военные годы, когда вместо поднимающих московских и ленинградских интеллигентов можно было запросто «добиться» западных украинцев, молодых, здоровых, знающих сельскую работу, или, на крайний конец, девок-«указниц», арестованных за самовольный уход с производства.

Он не был садистом. Никакого удовольствия от наших мучений не получал. Он просто НЕ ЗАМЕЧАЛ нас, потому что самым искренним образом НЕ СЧИТАЛ НАС ЛЮДЬМИ. «Падеж» заключенной рабсиллы он воспринимал как самую обыденную производственную неполадку, вроде, скажем, износа силосорезки. И вывод в обоих случаях был один: добиваться новых!

Жестокости своей он не осознавал, она просто была для него обыденным делом. Вот, например, диалог между ним и зоотехником Орловым, случайно подслушанный нашей тюрзачкой, которая кайлила навоз в районе молфермы.

— А это помещение почему у вас пустует? — спрашивает Калдымов.

— Здесь стояли быки, — отвечает Орлов, — но мы их вывели сейчас отсюда. Крыша течет, углы промерзли, да и балки прогнили, небезопасно оставлять скот. Будем капитально ремонтировать.

— Не стоит на такую рухлядь гробить средства. Лучше пустите под барак для женщин...

— Что вы, товарищ директор! Ведь даже быки не выдержали, хворать здесь стали.

— Так то — быки! Быками, конечно, рисковать не будем.

Это не было ни шуткой, ни остроловием, ни даже садистским измывательством. Это была просто глубокая убежденность рачительного хозяина в том, что быки — это основа совхозной жизни и что только крайнее недомыслие зоотехника Орлова позволяет ставить их на одну доску с заключенными женщинами.

В своем «сангвиническом свинстве», в постоянном ощущении твердости и неизбежности заученных тезисов и цитат он был бы, я думаю, страшно удивлен, если бы его в глаза называли рабовладельцем или надсмотрщиком над рабами. Та «лестница Иакова», в основании которой стояли заключенные и которая увенчивалась Великим и Мудрым, а годя-то посередине, ближе все-таки к вершине, находился и номенклатурный директор совхоза, казалась ему абсолютно неизбежной и существующей от века. Твердое убеждение в неизменяемости этого мира,

с его иерархией, с его вошедшими в быт формами, чувствовалась в каждом слове, в каждом поступке директора. Все, что не входило, не вмещалось в этот мир, в котором он вырос, выучился и по ступеням дошел до нынешнего положения, — было от лукавого. Хозяином ходил он не только по вверенному ему совхозу, но и по всей земле.

Иногда он, видимо, начинал скучать по оставленным на материке абстракциям. Они органически входили в его мироощущение. Поэтому он охотно читал время от времени вольняшкам совхоза лекции на теоретические темы. Когда Вилли Руберт освободилась и стала работать уже в качестве вольнонаемной экономистом совхоза, ей довелось слушать эти лекции.

Они были ничем не хуже других. У директора была хорошо натренированная память, и временами он даже отрывал свой веселый голубой взор от бумажки. С терминологией тоже все было в порядке. «Гордость» всегда шла с эпитетом «законная». «Слава» была, конечно, «неувядаемая», «патриотизм» — «животворный». Управлялся он и с философскими понятиями. «Теоретизированье» всегда шло с разоблачительным эпитетом «голое». «Риторизм» был «трескучий», а «эмпиризм», естественно, «ползучий».

Разным уклонистам, вроде вульгарных механистов, меньшевистствующих идеалистов и прочих деборинцев, пощады на этих лекциях, конечно, тоже не было. Но когда кто-то из лагерной администрации подал реплику в том смысле, что и у нас на Эльгене есть кое-кто из этих философских злоумышленников, Калдымов посмотрел пустыми глазами и оставил реплику без внимания. Ровно ничего не отразилось на его высоком челе. Никак не связывались в его сознании серые фигуры работяг, бредущих с разводом, и те «разработки», на основании которых ему предлагалось «бороться» с невидимыми идейными противниками, разоблачение которых было четко пронумеровано по пунктам и подпунктам и входило в состав экзаменационных билетов, по которым он проводил, бывало, вузовские экзамены.

Топор, который был в руках Калдымова и который всегда был занесен над нашими головами, разил не личности, не индивидуумы, а группы заключенных, целые отряды. Никогда он не давал команду: «Иванову — на лесоповал!» или «Петрову — на сенокос». Топор опускался сразу на большую группу. Распоряжения звучали так: «Снять пятьдесят человек с агробазы и послать на Теплую долину!» или «Семьдесят душ с закрытых работ — на кайловку!»

Его не интересовало, есть ли в том углу тайги хоть подобие жилья, хоть самое примитивное укрытие от колымских стихий. Все с тем же малиновым румянцем на щеках, все с той же улыбкой, обнажавшей несокрушимые зубы, он «списывал» тех, на чьи головы опускался его топор, и ехал в Магадан «добиваться» новых этапов.

Любопытно, что блатные, награждавшие всех начальников нецензурными прозвищами, очень долго называли Калдымова его настоящей фамилией. Только однажды Ленка Рябая, иногда читавшая книжки и любившая в бараке «тискать романы», заявила во всеуслышание:

— Его настоящая фамилия не Калдымов, а просто Дымов. А КАЛ — это его имя . . .

С тех пор так и пошло.

Что касается начальницы лагеря Циммерман, то блатные иногда звали ее Щукой (из-за вылезавших вперед и лежащих на нижней губе верхних зубов), а иногда просто Циммерманшей. По крайней мере, абсолютно непотребная частушка, сочиненная той же Ленкой Рябой и распевавшаяся блатным миром, начиналась со строк:

Сел Кал Дымов на машину,
Циммерманша у руля . . .

Валентина Михайловна Циммерман была старым членом партии не то с восемнадцатого, не то с девятнадцатого года. Некоторые наши, из тех, кто постарше, даже узнавали в ней своего бывшего товарища, вспоминали ее на партсобраниях начала двадцатых годов. Узнавание, правда, было односторонним. Сама Циммерманша абсолютно никого не помнила. Она, например, ни разу не остановилась при своих обходах барачков около задыхающейся в страшных сердечных приступах Хавы Маляр, с которой на воле была близко знакома и состояла в одной парторганизации.

Было эльгенской начальнице тогда лет за сорок, и она сохраняла стройную подтянутую фигуру. Так что когда она в военной форме, окруженная вохровцами и режимниками, шла по барачкам, то в ней проглядывалось некоторое сходство с красавицей Эльзой Кох.

До сих пор, до самых семидесятых годов, дожила в нашей среде дискуссия о Циммерманше. Среди эльгенских последних могилок, еще доживающих свой век, находятся люди, питающие к Циммерман некоторое уважение за то, что она была ЧЕСТНАЯ. Да, просто честная в самом буквальном смысле этого слова. Она не воровала продуктов из столовой зэка, не брала взятки за освобождение от смертельно опасных работ, не делала никаких комбинаций с лагерной казней, чем и выделялась как некое инородное тело из среды своих коллег, очень ее недолюблявших.

Кроме честности ей был свойствен даже некоторый аскетизм. Было известно, что безмужняя Циммерманша живет с двумя сыновьями, не участвует ни в каких попойках и колымских начальнических увеселениях. Были даже слухи, что и самые высокие севлаговские чины ее терпеть не могут. Забуддыги, взяточники и развратники нюхом чуяли в ней что-то чужое и отскакивали от нее, как, говорят, отскакивает волк от хищников другой породы.

А я (хоть знаю, что многие сочтут это ересью) задумывалась тогда, а тем более теперь, над этой проблемой. Какую ценность имеют такие добродетели, как честность, умеренность личных потребностей и даже неподкупность, когда всеми этими качествами одарена личность, выполняющая по отношению к другим людям палаческие функции? И кто более человечен: сменивший впоследствии Циммерман начальник Пузанчиков, отнюдь не страдавший аскетизмом, но умевший иногда смотреть сквозь пальцы, если заключенный утащит с агробазы спастительный капустный лист, или Циммерманша, убивавшая и убившая многих совершенно бескорыстно, исходя из самых, с ее точки зрения, идеальных побуждений?

Она разговаривала со всеми отрывисто и беспощадно, но называла всех на «вы». Она выбрасывала в парашу обнаруженные при обыске в барачке «левые» котелки с кашей, но следила, чтобы все жиры, положенные на зэковскую норму (из расчета ноль целых и еще сколько-то сотых на душу) попадали в котел, минуя хищные лапы придурков.

В противоположность Калдымову, она различала в толпе заключенных отдельные фигуры, и ее топор часто опускался не только на группы людей, но и на отдельные индивидуальные шеи. В частности, на мою. При этом она исходила, очевидно, опять же из самых, по ее мнению, благороднейших принципов — из борьбы за честность, целомудрие и соблюдение режима.

Надо сказать, что по вопросу о воровстве в нашей среде сложилось довольно единодушное мнение. Кражей считалось и соответственно осуждалось общественным мнением только присвоение чьей-то ЛИЧНОЙ собственности. Что же касается пользования продуктами, к которым мы получали доступ по роду работы, то мы были убеждены в своем полном праве пользоваться ими, беря потихоньку, поскольку открыто не разрешалось.

— У меня больше украли, — говаривала моя Андрониха, разбивая яичко, чтобы забелить нашу лагерную баланду. — Уж не считая того, что трудилась бесплатно пять лет, так еще и имущество конфисковали, а ведь ни за что ни про что. Девчонка бы могла хоть продавать да жить, пока родители в тюрьме. Так нет, всю мебель повывезли. Еще, как назло, только что шифоньер купили . . . Полированный!

— Знаешь, — мечтательно говорила Вилли Руберт, — мы с тобой могли бы хоть по десятку яиц в день воровать. На нас никто не подумает. Такие интеллигентные . . .

И если мы этого не делали, ограничиваясь только «забеливанием», для которого выбирали разбитенькое, то исключительно боясь не за свою совесть, а за «процент яйценоскости». Ведь им определялась наша работа.

Циммерман не пропускала ни одного случая, ставшего ей известным. Возмущаясь «попустительством» производственного начальства, она подписывала несчетное количество приказов о водворении в карцер за «хищения» на производстве. И рука у нее не дрожала. И не приходили ей в голову беспринципные соображения о том, что люди, посягнувшие на священную социалистическую собственность, были голодающими. Ведь она сама была ЧЕСТНАЯ. Не воровала, не брала взятку. И ей ли, с высоты этих добродетелей, не покарать дерзкую, осмелившуюся во время работы на овощехранилище сжевать своими выпадающими цинготными зубами казенную сырую картофелину?

В царствование Циммерман Еве Кричевой оформили новый срок за «кражу помидоров с агробазы». Когда заключенный врач Марков подавал начальнице рапорты с ходатайствами о применении сульфидна для зэка, больных тяжелой формой крупозной пневмонии, она почти всегда накладывала своим четким почерком резолюцию «Отказать». После такой резолюции умерла Ася Гудзь, талантливый литератор, обаятельная женщина. Так погибла совсем еще молодая — двадцатипятилетняя — Ляля Кларк, арестованная студенткой. В последнем случае Циммерман написала свое «отказать» еще решительней, устно разъяснив Маркову, что Кларк не только враг народа, но вдобавок еще полунемка-полуангличанка. А сульфидин, как известно, на Колыме дефицитен и надо хранить запас на случай болезни ценных для фронта и тыла людей.

Начальница изо всех сил охраняла принцип честности и сохранности народного добра.

Еще суровее боролась Циммерман за целомудрие. Когда она отправляла в этапы, сажала в карцеры за «связь зэка с зэкою» или, что еще хуже, «за связь зэка с вольнонаемным», на ее лице можно было прочесть не только начальственный гнев, но и откровенное презрение к развратникам. Они оскорбляли белизну ее вдовьих одежд. А в том, что в основе всех связей лежит только разврат, она никогда ни на минуту не усомнилась.

Может быть, именно в этой прямолинейности суждений и было заложено то зернышко, которое, разросшись, показало нам фанатичную большевичку первых революционных лет, «кожаную куртку», в образе

начальницы лагеря, одетой в военный мундир, скроенный по модели, созданной Эльзой Кох.

Эволюция Циммерман должна бы стать темой особого исследования историка, социолога, большого писателя. Мне не под силу.

Тогда мне порой казалось, что она не может не осознавать трагичности своего положения, что для нее наша эльгенская зона — тоже зона. Иногда мне казалось, что в один прекрасный день она вдруг может увидеть себя со стороны и полезть в петлю.

Но это были, наверно, только интеллигентские домыслы, потому что конец ее жизни вполне благополучен. Говорят, что даже сейчас наша Циммерманша, награжденная медалью «За победу над Германией» (без выезда из Эльгена!), доживает, так сказать, «на заслуженном отдыхе», получает персональную пенсию и пользуется столовой старых большевиков в Риге, где она нередко встречается с теми, над чьими бесправными, истерзанными головами она годами держала топор. И не только держала, но и опускала его.

Глава девятнадцатая

ДОБРОДЕТЕЛЬ ТОРЖЕСТВУЕТ

Живя годами в трагедийном мире, как-то смиряешься с постоянной болью, учишься даже иногда отвлекаться от нее. Утешаешь себя тем, что страдание обнажает суть вещей, что оно — плата за более глубокий, более близкий к истине взгляд на жизнь.

В этом смысле моя судьба в лагере была завидной. Точно некий Редактор обдуманно направлял меня для сбора материала на самые различные круги преисподней, где я могла видеть столкновения характеров, поступков, мыслей в наиболее резком свете.

Невыносимо становилось только тогда, когда страдания делались скучными, когда снова повторялись уже осмысленные ситуации, когда оставалась мука как таковая, без отвлекающей и облагораживающей возможности размышлять. А случалось это всякий раз, когда меня снова и снова заталкивали на уголовную командировку в качестве медсестры.

Так было и на этот раз. Новая командировка называлась игриво — Змейка. Снова голод, от которого уже отвыкла за год, братски делия с курами их роскошный рацион. Снова таежное комарье, кривые бараки со сплошными нарами и, главное, снова плотное кольцо одиночества. Не с кем слова молвить. Девки-уголовницы, все точно снятые с одной колодки, да вохровцы, обходящиеся тремя десятками клишированных фраз.

Теперь я стала похожа на сударского инструментальщика Егора. Тот тосковал по центральной эльгенской зоне больше, чем по родной деревне. Вот и я сейчас ловила себя на том, что тоскую по молфермовскому птичнику больше, чем по Казанскому университету. Это пугало как признак запустения души, и я судорожно искала ей пищу. Может, в природе?

Укрытая от ветра Змейка заросла высокими развесистыми лиственными деревьями. Прелесть здешнего пейзажа отличалась от сударской. Там красота была сумрачная, типично колымская, а на Змейке был оазис. Такие места встречаются изредка на Колыме, в стороне от зловещих скал и болот, окаймляющих центральную трассу. Пользуясь относительной свободой передвижения вокруг «командировки», я облазила окрестности Змейки и обнаружила удивительные, просто сказочные

уголки. Помню островок, поросший серовато-розовой замшевой вербой. Казалось, что где-то в этих зарослях прячется пряничный домик.

Домика не оказалось. Зато Баба-яга прочно обосновалась на Змейке в должности завхоза. Гаврилиха была кривобока. При разговоре она брызгала слюной. Вылезшие вперед длинные верхние зубы лежали на нижней губе. Этот штрих делал ее, безобразную, чем-то похожей на красивую Циммерман. Гаврилиха была как бы карикатурой на нашу стройную начальницу.

Всего какой-нибудь год назад Гаврилиха еще стояла по ту сторону черты: она была сотрудницей УРЧа магаданского женского лагеря, а муж ее был начальником того же УРЧа. Потом эту даму, как говорится, бес попутал: не то она потеряла какую-то секретную бумагу, не то разболтала ее содержание. Только дали ей три года срока за легкомысленное отношение к служебным тайнам.

Попав в качестве заключенной под руководство Циммерман, она сумела понять характер начальницы, угодить ей, получить ответственный пост в лагослуге. Увы, Баба-яга, сумевшая притвориться, не сумела все-таки преодолеть основных свойств своей природы и быстро попала на каком-то жульничестве. Лагерная ее карьера стремительно покатилась вниз и довела ее до Змейки. Правда, пока еще не работягой, а завхозом, но уже вдалеке от центральной зоны, на гнусной, голодной, уголовной точке.

Ненависть девок к Гаврилихе была до того остра, что я все время опасалась: не привели бы они в исполнение свои ежедневные угрозы, не зарезали бы Бабу-ягу. Я даже пробовала было осторожно намекнуть ей, что в этой обстановке надо бы умерить хищность повадок. Напрасно. К недоеданию недавняя сотрудница УРЧа была непривычна, и с каждым днем обменные операции с казенными продуктами становились все смелее и неосмотрительней. Иногда глухой ночью я просыпалась от сладострастного чавканья, несущегося с Гаврилихиных нар. Только под покровом ночной тьмы она рисковала проглотить свой нечестивый кусок. Ведь шел сорок четвертый. Лагерный паек и без того скудел с каждым днем, с каждой неделей. И те десять граммов, которые при развеске хлеба зажудливались с каждой пайки, вырастали в грозную причину бунта. Народом в данном случае были блатные «оторвы» и «шалашовки», и бунт грозил стать кровавым. Уже шатались вокруг Змейки блатари-мужчины, которым девки дали знать о своем бедственном положении.

Мы с бригадиром Клавой Батуриной пытались говорить об этом с охраной. Но вуховцы, сытые, обленившиеся, жили по принципу «день да ночь — сутки прочь», отсиживались тут от войны и не хотели конфликтов.

И кончилось бы все это очень плохо, если бы не скрутила Бабу-ягу лихая желудочная хворь. Я сказала командиру, что надо, мол, ее в больницу, а то, кто знает, не брюшник ли. И командир сам отвез ее на попутном тракторе в центральную зону, а вернувшись, распорядился, чтобы хлеб до ее возвращения развешивала я.

Мы с бригадиршей Клавой принесли Гаврилихины весы, которые она держала в темном закутке, так называемой «кладовой», и водрузили их на стол в середине барака. Я резала хлеб и развешивала его на глазах у девок. Первая же, честно взвешенная пайка была явно больше обычной, Гаврилихиной.

Эта неслыханная демократизация снабжения вызвала восторженное мнение девок. Профессиональные воровки были до слез тронуты самой возможностью увидеть честного завхоза.

— Дешевка буду, коли до Циммерманши не дойду! — иступленно

кричала Ленка Рябая и тут же «забожилась по-ростовски», что Баба-яга вернется на свой пост только через ее, Ленкин, труп.

Они давно собирались идти к начальнице. У них даже лежала припрятанная Гаврилихина пайка. Пусть перевесят, ну там усушку учтут, конечно, но пусть Циммерманша сама посмотрит, сколько с каждой пайки воруют. А теперь вот для сравнения еще захватят с собой ту безобманную пайку, что Женька-лекпомша дает.

Не знаю, как все это осуществилось, но через несколько дней меня вызвали к Циммерман. Впервые грозная начальница посмотрела мне в лицо спокойными и, пожалуй, даже доброжелательными глазами. Ведь я проявила как раз то качество, которое она ценила выше всего, — честность. Честность в прямом и узком смысле слова. Не воровать!

— Я назначаю вас завхозом Змейки.

Я похолодела. Материальная ответственность в этой обстановке! Да еще в сочетании с моим арифметическим кретинизмом! Сознаться в этом вслух я не смела, но ведь про себя-то я знала: для того, чтобы, скажем, вычестить из семидесяти шести двадцать пять, я шептала про себя: «если отнять десять, будет шестьдесят шесть, потом еще десять — пятьдесят шесть, а если еще пять отнять, то будет...» В общем, недаром я получила среднее образование в тот период, когда молодая советская школа экспериментировала в направлении ранней дифференциации обучения, и мне, тринадцатилетней, было разрешено полностью посвятить себя гуманитарным наукам.

— На любые общие работы! — молила я Циммерманшу. — На самые тяжелые! Только не это... Я просчитаюсь, провешусь, меня будут нещадно надувать кладовщики...

И вдруг, в ответ на этот вопль отчаяния, случилось почти невозможное. Начальница как-то странно взглянула на меня и произнесла немыслимые слова:

— А что если я назначу вас медсестрой к врачу Герцберг, в амбулаторию центральной зоны?

Не может быть. Ведь это один из наивысших придурочьих постов. Неужели это возможно для меня? Ходить в чистом белом халате? Жить в бараке обслуги, где стоят отдельные топчаны, а по вечерам лампочка горит так ярко, что можно читать, сидя за столом в середине барака? Работать в тепле, под начальством доброй, мягкой Полины Львовны, памятной мне еще по деткомбинату?

... Все эти дерзновенные мечты осуществились. По вечерам в амбулатории центральной эльгенской зоны мирно потрескивает глиняный подтопок. И халат у меня чистый. И топчан с двумя бязевыми простынями в бараке обслуги.

... Но все это ничуть не касается того манекена с механическими движениями и застывшими глазами, который теперь существует под моим именем. Разве это еще я? Разве я могу еще быть живой после того, как свершилась надо мной самая страшная моя кара? После того, как погиб мой сын, мой первенец, мое второе «я»?

Это сорок четвертый. Предчувствовала... Заклинала... «Господи, да минут... Пусть любая другая чаша, только не эта, не эта... Не миновала.

Я ожесточилась. В тысячный раз смотрю на строчки маминого письма и не замечаю, что буквы скрючились от непереносимой боли. Только спустя шесть лет, когда пришла следующая похоронная — на маму, — я снова вытаскала это письмо и, сопрягая две непереносимые боли, впервые поняла, каково ей было выводить неповинующейся рукой буквы, втыкать дочери нож в сердце. Но это только через шесть лет. А тогда —

никакой жалости к матери, овдовевшей, потерявшей меня, а теперь еще и старшего внука. С таким же оцепенением вчитываюсь в ее телеграмму: «Переживи. Сохрани себя ради Васи, ведь отца у него тоже нет». Почти равнодушно прохожу мимо содержащегося здесь косвенного известия о гибели мужа. Никого, никого мне в это время не жалко. Эгоизм страдания, наверно, еще более всеобъемлющ, чем себялюбие счастливых.

Не будь я в те недели под конвоем . . . Сколько их было кругом — бурных, ледяных, громкоголосых таежных рек и речушек. Любая могла погасить бедную израненную память . . .

Но меня не оставляют ни на минуту наедине с собой. Меня конвоируют, заставляют работать. Вокруг меня десятки, сотни людей. Я ставлю им банки, вскрываю фурункулы, капаю капли в глаза и носы, бинтую обмороженные пальцы рук и ног. На Сударе я делала все это любовно, с глубоким состраданием к людям. Сейчас все мои движения автоматичны. Я часто забываю, что банки пора уже снимать, и Полина Львовна укоризненно качает головой. Спыхватываюсь. Вспоминаю. Ведь на вид я все еще живая.

По утрам, открывая глаза, я осознаю себя в живых по чувству острого страдания, щупальцами впившегося в грудную клетку. В юности мне нравилось повторять: «Мыслью — значит существую». Теперь я могла бы сказать: «Страдаю — значит жива».

От барака к бараку движется процессия. Впереди начальница лагеря, за ней начальник режима, командир взвода вохры, начальник Кавече, нарядчик, староста. Шестие замыкает медицина. Иногда Полина Львовна посылает меня вместо себя. Это ежедневный обход. В каждом бараке дневальная рапортует. На работе — столько-то, выходных — столько-то, больных — столько. Иногда, куда реже, чем на отдаленных таежных точках, попадаются «отказники». Скажем, тетя Катя из немецкого барака. Ей семьдесят и у нее ревматизм. Вообще-то она крепкая жилистая старуха, и ее заставляют хоть на два-три часа выйти на работу. На снег! Расчищать снег, хотя бы только в зоне. А тетя Катя не хочет. Она сидит целыми днями в бараке и вяжет носки из ниток, которые с великой тщательностью надергивает из американских мешков из-под муки. Мы едим теперь белый, как вата, маисовый американский хлеб, а мешки по блату добывают в каптерке, с них счищают остатки муки, их стирают, кипятят, а потом вышивают, мережат или вяжут из них любые предметы туалета: носки, рукавички, разные воротнички и косынки. Тетя Катя — первый специалист.

— Работать надо! — объясняют ей начальники.

— Дראусен? — возмущенно восклицает тетя Катя, делая вид, что не умеет говорить по-русски. Потом она быстро и сердито говорит на немецко-колониристском диалекте, что сначала надо кормить, а потом уж гнать на работу. Что за паек ей дают! Воробью не хватит! Она уже ходила жаловаться в сельсовет и еще пойдет. Тетя Катя упорно именуется наш УРЧ сельсоветом, и объяснить ей разницу невозможно.

От нее отступаются. Все-таки семьдесят. К тому же сейчас не до нее и вообще не до старых этапов. Идет бурный и нелегкий процесс освоения новой рабсилы. В сорок третьем—сорок четвертом эльгенскую зону пучит и расширяет от новых этапов.

С этими этапами впервые дошли до нас отголоски войны. Западные украинки. Вчерашние «заграничницы». Молодые, кровь с молоком. Про-

сто чудо, во что превратился под их трудолюбивыми руками отведенный им второй барак! Дощатый пол засветился, как яичный желток. Засверкали хрустальным блеском зачуханные, склеенные из обломков стекла окон. На столбах вагонов появились зеленые веточки стланника. С соломенных подушек свисают трогательные вышитые рушники. А производственные планы! Что сотворили эти кудесницы с нашим совхозным планом! Они его просто выполнили! Всерьез, без туфты.

Единственное, с чем приходится начальству трудновато, — это с верностью «западнячек» церковному календарю. Вроде бы самый обычный вторник, а второй барак целиком не вышел на работу. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Процессию обхода встречают слаженным пением молитв.

— Что же вы не на работе? Больны? — вежливо интересуется начальник режима.

— Ни, громодянин начальнику. Хворых не мае. Але сьогодня свято . . .

Начальству не хочется прибегать к репрессиям. Целый барак не потащишь в карцер. К тому же эти дивчины — ударницы производства. На передний план выдвигается начальник Кавече.

— Вот ведь до чего вы народ несознательный, — огорченно произносит он, подергивая плечом. — Девушки вы все работящие, честные, а в такую ерунду верите.

— От зато ж мы и честны, що в Бога веруемо.

. . . Почему-то эти крепкотелье поворотливые дивчины с южным колером лиц до смерти любят лечиться. На вечерний прием они битком набиваются в нашу амбулаторию.

— По пид грудями дуже пече, — напевно повествует двадцатилетняя Марийка, поводя своими иконописными очами. — А писля у кишки як вступе, як вступе . . . Ажно у роти солодко робиться . . .

Пытаюсь перевести разговор в конкретную плоскость.

— Просишь освобождение от работы?

— Та ни . . . Робити можу . . . Але прошу дать якись капли . . .

Неслыханное в лагерном быту явление — не нуждается в освобождении от работы. Тогда, наверно, красочное описание болей «по пид грудями» — это форма проявления тоски по личному, по участливому вниманию к себе.

— Тебя за что взяли, Марийка? — с опаской спрашиваю я, накапывая в мензурку ландышевые капли.

Ведь уже семь лет прошло с тридцать седьмого. Как же это выглядит теперь, на фоне войны, гитлеризма, безмерного всеобщего страдания? Неужели все так же? По плану? По разверстке? Так за что же, Марийка?

— Дуже дякую за капли.

— Не хочешь говорить? Ни за что, наверно?

Марийкины очи темнеют, шуряются, теряют иконную невозмутимость.

— Як це — ни за що! Коли мене на горячем дили заарештували! Листивки по заборам клеила!

Я вроде даже рада этому. Пусть за листовку, пусть за какое-то неосторожное слово. Пусть сурово, непропорционально деянию. Лишь бы не просто так! Не чохом! По профессии, по национальности, по родству . . . И кто знает при этом, какую категорию начнут выбраковывать завтра! Может, по цвету волос? Разве не подозрительны, скажем, рыжие уже одной пламенностью расцветки!

Увы! Скоро я узнаю, что вокруг одной Марийки с ее листовками арестовано человек тридцать за то, что жили с Марийкой в одной местности. И еще сотня за то, что были знакомы с этими тридцатью. Нет, принцип оставался все тот же, незыблемый.

Кроме западных украинцев на Колыму прибывают сейчас большие этапы так называемых «указников». Тоже продукт военного времени. Главным образом молодежь, осужденная по указу за самовольный уход с предприятий. В нашей центральной зоне эти девчухи, почти школьницы, ходят табунками. Охотно рассказывают, как это все стряслось с ними. История у всех одна и та же, с небольшими вариациями. Очень было трудно, холодно, голодно, ну не вытерпела да к маме и уехала.

— А очень было голодно? Как в лагере, да?

— Что вы! Если бы как в лагере, я бы не сбежала. Здесь вон хлеб-то какой белый!

Нам, старым опытным ээка, совсем не нравится этот заморский маисовый хлеб. Никакой в нем серьезности. Наша отечественная черная горбушка куда основательней была. Но указниц чарует именно белизна этого хлеба. Они любят его как полузабытым видением нормальной жизни. И вообще, оглядевшись, указницы приходят к выводу, что в лагере не так уж плохо.

— Здесь хоть женщиной себя чувствуешь, — милым, чуть охрипшим голосом говорит девятнадцатилетняя Зина Пчелкина.

Она лечится от простуды. Я поставила ей банки. Она лежит на амбулаторном топчане, прикрытая какой-то хламидкой, и объясняет, чем ей нравится Эльген. Ну хоть сравнительно с Ульяновском, где она жила с мамой и сестрами. Ведь там, в Ульяновске, теперь одни бабы. Другой раз кажется, что весь мир из одного бабья состоит. Приехал вон Мишка Воробьев с фронта, ногу ему там оттапали, по чистой вернулся. Так вокруг него все ульяновские красотки так и вьются. А он, этот Мишка, и с двумя-то ногами чучелом был. Кто на него смотрел в школе! В Эльгене — другое дело. Зона-то женская, но ведь только шагни за вахту — куча мужчин! Колыма, наверно, последнее место на земле, где мужиков вдвое больше, чем нас, где еще ценят нашу красоту.

Зиночка заговорщицки улыбается и предлагает мне сунуть руку в карман ее бушлата. Какие у нее там записки от парней! Она гордо хихикает, и банки на ее спине мелодично позвякивают, цепляясь одна за другую. Подрагивают от смеха беленькие, перевязанные лямками косички. Точно такие же были у нашей Майки, моей падчерицы.

— Не торопись, девчонка! Слыхала, здесь есть словцо «шакалы»? Так вот проверь, не шакалы ли писали. А записки сожги. А то попадешься с ними на обыске — в карцер запрут.

Пустые, конечно, речи. Уже через несколько месяцев чуть ли не все указницы, мамыны дочери, беременны. Ведь статья их считается легкой, допускает бесконвойную работу среди вольных.

Но беременность — еще полбеды. Уже совсем поздно вечером, после отбоя, я делаю секретные уколы. У Клавдюшки М. еще цело ее школьное форменное платьишко. Ее в нем арестовали. Она поднимает коричневую юбочку в бантовую складочку, обнажает розовую детскую ягодицу, и я вкалываю ей большой шприц с жидкостью, напоминающей густой помидорный сок. От люэса.

... Бегут месяцы. Все больше отстаивается мой быт. Вроде так и положено от сотворения мира. Подъемы. Разводы. Обходы. Проверки. Отбой. Должность зонной медсестры приближает меня к администрации. Когда наступает тихое время — между утренним обходом и обеденным перерывом — в амбулаторию заходят надзиратели, а иногда и их жены. У надзирателя-татарина четверо малышей. Они болеют. Его жена зачастила ко мне. Она выводит меня за вахту, ведет в свою комнатешку,

где пахнет лапшой и теплым бараньим салом. Мы лечим ее смуглых малышей по забытым патриархальным рецептам моего детства: стираем грудку скипидаром, ставим на животик согревающий компресс. Я слеплю сносные татарские фразы, и мы беседуем про Казань. Про Сенной базар и магазин ТУМ. Про Арское поле и новые маршруты троллейбусов.

Помаленьку все вахтеры привыкают ко мне, и теперь мне достаточно заглянуть в окошечко и сказать: «Разрешите», как длинный железный болт скользит влево и дверь вахты раскрывается передо мной. Только красавчик Демьяненко спрашивает: «Далеко собралась»? Но и он удовлетворяется стандартным ответом, что, мол, в больницу, за медикаментами.

Я иду улицей нашего совхоза, привычно маневрируя между окаменелыми грядками черной грязи, навоза, мусора. Мимо конбазы и управления, мимо бани и больницы. Торопливо иду, чтобы успеть вернуться в зону к дневному приему больных в обеденный перерыв. С оглядкой иду, чтобы не нарваться на какого-нибудь начальника, на окрик: «Куда? Без конвоя?»

И все-таки эта прогулка — какая-то отдушина. Как-никак, и я иду одна. Иду туда, куда мне хочется: на молферму, к друзьям в гости. Всех повидею, душу отведу. Ну и молочка выпью, съем краденое яичко, снесенное моими дорогими бледными гребешками.

Я привыкла к Эльгену, и он уже не кажется мне мертвым. Вот на речке, у бани, стоя на мостках, какие-то бабенки-вольняшки полощут белье. Остановливаюсь на минуту, со жгучей завистью наблюдаю их движения. Вон та, коротышка с толстыми икрами, отжимает тяжеленные мужские порты из чертовой кожи. Она умаялась, побагровела. Выпятив нижнюю губу, сдувает кверху упавшую на глаза прядь. Вот отстирается, сложит белье в таз и пойдет домой, в собственную свою хавиру, где у нее свой собственный борщ томится в глиняном подтопке. А муж придет на перерыв, и они будут из одной миски хлебать этот борщ. И он будет ей рассказывать, как бригадир — собака — плохо закрыл ему наряд. Надо, мол, ему, собаке, опять в лапу дать . . .

Вспоминаю нашу Надю Ильину — бывшую специалистку по скандинавским языкам, которая освободилась из лагеря без права выезда на материк и вышла замуж за грузчика из раскулаченных. Счастливица! Правда, он разбавляет спиртягу растопленным снегом и хлещет его прямо из консервных банок. Другой раз, говорят, спьяну вспомнит свою пропавшую молодость и двинет Надюху кулачищем. Но ведь другой раз и пожалеет же . . .

Ну вот, слава Богу! Успела вовремя добежать обратно. Опять заглядываю в окошечко вахты: «Разрешите?» . . . И стараюсь так держать большую бутылку с марганцовкой, чтобы Демьяненко не сомневался: ходила за медикаментами.

— Давай заходи! — Железный болт легко скользит в сторону.

. . . Сейчас, на третьем году войны, режим в лагере несколько ослаб, особенно здесь, в центральной зоне. Ведь самые опасные элементы — на точках, на пунктах и командировках. А здесь опять Кавече вошла в силу, перевоспитывает, читает вслух газеты. Даже добилась показа кинофильмов лучшим производственникам. Поощрение за хорошую работу.

Мы сидим в огромном студеном бараке, именуемом «клуб». Кутаемся плотнее в бушлаты, шевелим ледяными пальцами ног во влажных чунях и жадно следим своими отрешенными глазами, как Любовь Орлова, играющая знатную текстильщицу, вся в крепдешинах и локонах, очень

натурально «переживает». Сейчас ей на грудь прикрепят орден. Это сделает Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. (Его жена тоже где-то в лагерях, и доходили до нас слухи, что ее там прозвали «старостихой».)

Фильм называется «Светлый путь». Я не отрываю глаз от экрана. Вот сейчас героиня выйдет на улицу, и мы увидим Москву. Меня знобит при мысли, что вот сейчас, сию минуту, передо мной встанет Охотный или площадь Революции. Но действие все время развивается или в цехах, похожих на дворцы, или во дворцах, похожих на фаланстеры из снов Шарля Фурье.

И все-таки лестно. После семилетнего перерыва я снова вижу фильм. Нам, детям тьмы, показывают картину о чем-то светлом пути.

Вот так восторжествовала добродетель. Вот каким отменным житьем в центральной зоне наградила меня наша строгая, но справедливая начальница. За то, что я оказалась честной. Не воровала хлеб у голодных.

Целый год длилась моя работа в амбулатории центральной зоны, до тех пор пока...

Глава двадцатая

ПОРОК НАКАЗАН

Преступление, которое я совершила, было беспрецедентным в истории лагеря. Я залезла в карман к начальнице. Я взяла из этого кармана бумагу и сожгла ее в печке. Спрошенная в упор, я созналась в этом неслыханном деянии. Впрочем, все было не так просто.

Уже за неделю до этого происшествия я места себе не находила с тоски. Не могла забыть один ночной вызов.

— Швидко давай! Одягайся! На агробазу! Там страпилось... — свистящим шепотом приказывал мне вахтер, появившийся глухой ночью в нашем бараче.

Что могло стрястись на агробазе в ночной смене? Никаких машин или механизмов, которые могли бы повредить человеку, там нет. Ночные работницы только топили огромные печи в теплицах или мастерили торфоперегнойные горшочки, уже вошедшие тогда в моду на Колыме.

А случилось, видно, что-то важное, потому что со мной вместе на агробазу быстрыми шагами шел, освещая наш путь электрическим фонариком, сам начальник режима, а с ним еще двое незнакомых мужчин в штатском.

— Врача бы надо, а не сестру, — сказал один из них. Но режимник возразил, что, мол, врачу там все равно уже делать нечего, а для составления акта эта сестра еще лучше пригодится, поскольку она помоложе и поразбитнее зонной врачихи.

У входа в теплицу толпились женщины из ночной смены. Дежурный по агробазе вохровец не пропускал их в дверь. Но как-то неуверенно, не очень категорично не пропускал. Я успела уловить всхлипывания и имя Полина, летавшее над этим скопищем серых теней с неразличимыми лицами.

— Давай вперед, лекпом! — скомандовал режимник.

Меня протолкнули в низкую дверь. Большая печка потрескивала, плевалась и шипела сырыми, плохо разгоравшимися дровами. Тени от этого неверного огня бежали по темным стенам, как бегут на исходе ночи очертания предметов в окне движущегося вагона. Теплица и впрямь точно ехала, вся шатаясь и раскачиваясь.

Я схватилась за косяк, чтобы не грохнуться. Прямо над высоким стеллажом с капустной рассадой тихонько свисало с потолка что-то

длинное и тонкое. Это что-то заканчивалось лагерными бутсами. Они намертво промерзли и сейчас оттаивали. С них сочилась на стеллаж грязная сукровица. Голова, страшная, черная, с вывалившимся языком, была похожа на старый памятник Гоголю. Тонкий нос, спускающаяся на лоб прядь волос, расчесанных на прямой пробор. Полина Мельникова!

— Давненько, видать, висит. Захолодала совсем, — объяснил дежурный по агробазе вохровец.

— А не сняли чего же?

— Да мы когда заметили, уж поздно было. Все равно уж кончилась. Раз так, думаю, пушай висит уж по инструкции . . . До начальства . . .

На стеллаже, под самыми Полиниными ногами, лежал обрывок бумаги, закрепленный на месте двумя торфяными горшочками. Тут же валялся синий обгрызенный карандаш . . . Если закрыть глаза, я и сейчас вижу — эти два синих разъезжающихся слова. «Хватит» . . . «Надоело» . . .

Ровно ничего не случилось, что могло бы ускорить решение. Была ночь как ночь. Обычная лагерная ночная смена на эльгенской агробазе. Вот только, может, тени от печки, перемещаясь по стенам, сложились в какие-нибудь особенно злоеющие химеры? Кто знает, почему человеку вдруг становится ясно, что хватит . . .

Вот уже обрезана веревка, и Полина лежит на стеллаже среди этих полуобгорелых горшочков, точно слепленных кретинами из специального детдома. Полина Мельникова. Пассажирка седьмого вагона. Бывшая переводчица-китаистка. Бывшая женщина. Бывший человек.

Нет, уж если кто тут бывший человек, так не она, утвердившая свое право человека таким поступком, распорядившаяся собой похозяйски. Это я, я бывший человек. Я, которая, вместо того чтобы рыдать над ее трупом, выкрикивая проклятия палачам, пишу на краешке стеллажа «Акт о смерти». Живу. Живу даже после Алеши, хотя уже ясно, что ничего и никогда не будет больше у меня. Держусь за это единственное существование, за эти дни, каждый из которых — плевок в лицо.

А ведь она приходила в амбулаторию незадолго до той ночи. И я перевязывала ей палец на руке. Здесь так часты панариции. Еще спросила ее, как, мол, живешь, Полинка, и тюкает ли еще в пальце. А ведь не спросила, почему у нее не только нос и волосы, но и глаза стали похожи на гоголевские, на старый памятник Гоголю. А может, если бы спросила ласково, не как лагерная медсестра, а как настоящая сестра, как сестра милосердия, так она бы еще и подождала брать в руки этот синий карандаш.

Через несколько дней после Полины умерла Ася Гудзь. От крупозной пневмонии. Врачиха хотела отправить ее в больницу на лошади или хоть на бычке. Но добиться этого не удалось, и я повела ее пешком. Я вела ее под руку, и нам обем казалось, что врачиха ошиблась. Не может быть, чтобы это была пневмония. Правда, щеки у Аси пылали, но она улыбалась и, немного задыхаясь, шутила. Ася была из тех, кто сохраняет женственность в любом возрасте и положении. Сколько раз видела: на поверке или разводе вдруг вытасит Ася огрызок зеркала из кармана, взглянет, спрячет зеркала и оглядится кругом веселыми глазами. Дескать, есть еще порох в пороховницах! А пока женщина привлекательна, еще ничего не потеряно.

И в морге она лежала красивая, моложавая . . .

— Двое друг за дружкой. Третьей не миновать, — суеверно шептала дневальная тетя Настя.

И не миновало. Третьей оказалась Ляля Кларк. Полине и Асе было лет по сорок. А Лялечке — двадцать пять. И такая крепышка. Циммерман

не хотела оставлять ее на сносных работах: Ляля полунемка, полунгличанка. Как только начальница дозналась, что Ляля на молферме (была она там скотницей и ворочала за троих мужиков), сейчас же услала ее завхозом на очень отдаленную лесную точку. Ехала Ляля одна, глухой тайгой, заблудилась, еле выбралась живьем. Пришлось вытаскивать сани с продуктами, свалившиеся в сугроб. Взмокла, простыла. Крупозная пневмония.

Заклученный врач Марков дважды просил у начальницы разрешения на сульфидин. Отказала. Еще утром Ляля говорила: «Выдержу. Я молодая». А к обеду уже лежала в морге.

На другой день после ее смерти я побежала на молферму. Все здесь говорили о Ляле. Не было человека — вольного или заключенного — кто бы не жалел ее. По дороге обратно мне встретился зоотехник Орлов. Он сунул мне в руку письмо. Оно было о Ляле. В самых горьких, искренних, человеческих словах он говорил о покойнице. Без всяких обиняков называл Циммерман убийцей.

Я прочла письмо на ходу, восхитилась смелостью зоотехника, а письмо сунула в карман бушлата, чтобы прочесть его друзьям в зоне.

За последний год меня ни разу не обыскивали на вахте, и я, как говорится, потеряла бдительность. Поистине, если Бог захочет наказать, то отнимет разум. Какой легкомысленной надо было быть, чтобы так обращаться с таким документом!

— Разрешите? — сказала я, как обычно, заглядывая в окошко вахты. Болт отодвинули. Но не успела я пройти через проходную, как раздался голос Демьяненко:

— А ну, зайди на вахту!

Нет, конечно, не политической крамолы решил искать в карманах моего бушлата румяный красавчик, самый «ушлый» из вахтеров. Просто до него дошел слух, что лекпомша бегаёт на молферму, и он полез с обыском в надежде найти контрабанду в виде бутылки молока или пары яиц. Обшарив меня, он был глубоко разочарован, не обнаружив ничего похожего. Письмо Орлова, написанное не очень разборчиво, он покрутил без особого интереса и, кажется, уже готов был вернуть его мне, приняв, может быть, за выписку лекарств для амбулатории. Но в этот момент дверь проходной скрипнула и на вахту вошла начальник ОЛП Циммерман.

— Что тут такое? — спросила она. Потом взяла из рук Демьяненко отнятое у меня письмо Орлова, небрежно сунула его в карман своей меховой куртки, а мне сказала: «Идите в амбулаторию, я скоро приду на перевязку».

Дело в том, что организм начальницы тоже реагировал на колымский климат. Она болела фурункулезом, хоть, конечно, и не в такой степени, как все мы. В данный момент у нее был порядочный фурункул на животе, и она предпочитала лечить его не в вольной больнице, а в нашей зонной амбулатории. В часы, когда не было приема заключенных, она заходила, и мы делали ей перевязки с ихиолом или риванолом. Поначалу это доверялось только Полине Львовне. Но у той от страха так тряслись руки, что вскоре процедура была передоверена мне.

Как только — минут через десять после обыска на вахте — Циммерман зашла в наш темный коридорчик, я поняла, что она еще не читала письма. Лицо ее было спокойно, почти приветливо. Все-таки привыкаешь к людям, которые ежедневно бинтуют тебе живот. Она сняла меховую куртку, повесила ее на гвоздь в коридорчике и прошла в ту часть барака, что гордо именовалась у нас «кабинет врача». Полина Львовна куда-то ушла. Мы были наедине.

— Сделаем перевязку, — сказала начальница, садясь на топчан.

Я видела, что она благоволит ко мне, как мы всегда благоволим к тем, кому мы когда-нибудь сделали добро. А ведь она перевела меня со Змейки, где я обязательно «дошла бы» от голода и тоски, на такую первоклассную работу. Я прочла на ее лице: если в письме окажется что-нибудь незначительное, она не будет поднимать историю. Она опять благодетельствует меня. Если это даже и окажется какое-нибудь любовное приключение, она, возможно, даже не даст мне пять суток карцера с выводом на работу.

Но ведь я знала, что в кармане меховой куртки лежит бомба. Там гневное письмо вольного человека против тех, кто убил Лялю и еще многих. Мне ясно виделась вся картина последующих событий. Нашего доброго молфермовского зоотехника выгонят с работы. Потом его начнут терзать на собраниях, а может, и не только на собраниях. Затем будут исследовать связи политических ээка с вольными специалистами. Пострадают многие. Закрутят снова режим. И все из-за меня.

Отчаяние толкнуло меня на нелепость. Я стала страстно умолять начальницу вернуть мне письмо не читая. В это время мне было уже лет тридцать семь. Но я, как шестнадцатилетняя дурочка, исходила в этом разговоре из того, что если постараться и хорошо разъяснить преимущество доброго поступка, то можно уговорить, унять злого человека в его стремлении делать злое.

Чего я только не говорила! Сейчас и то стыдно вспомнить! Каким-то книжным языком прошлого века я объясняла ей, что тут интересы третьего лица. Дескать, я убеждена, что она не захочет врываться в чужие тайны. Пусть я одна несу всю тяжесть последствий.

— Разрешите порвать в вашем присутствии.

Наверно, Циммерман подумала, что я рехнулась. Кроме того, весь мой страстный монолог необычайно повысил ее интерес к письму. Ничего не отвечая на мои словоизвержения, она легла на топчан, открыла место, где у нее был фурункул, и бесстрастно сказала:

— Так сделаем перевязку.

Инструменты и лекарства стояли в так называемой процедурной. Пройти в нее надо было через темный коридорчик, где висела сейчас меховая куртка начальницы. Проходя, я сунула руку в карман куртки. Письмо Орлова спокойно лежало там. Я смяла его и бросила в топящуюся печурку. Оно обуглилось вмиг. Потом я вернулась в кабинет врача и молча сделала эту перевязку.

— Что-то сегодня больше, чем обычно, — морщась, сказала начальница.

Она спокойно ушла, не проверив карманов. Но через несколько минут в амбулаторию ворвалась Нинка, курьер УРЧа, «перековавшаяся» блатнячка. Она посмотрела на меня так, как смотрят на увозимых в Серпантинку, и, задыхаясь от волнения, крикнула:

— К Циммерманше! На цирлах!

Потом она с сокрушением добавила, что мне, видать, не сидится на теплом месте и что начальницу всю бьет от злости.

Циммерман действительно даже побледнела от гнева, от неслыханного оскорбления. Папироса тряслась в ее пальцах не хуже, чем в моих — только что дрожал пинцет.

— Отдайте письмо! — выбросила она мне в лицо сквозь свои длинные зубы.

Конечно, можно бы сказать: не знаю, может выронили? Но я почему-то делаю ставку на пристрастие начальницы к честности.

— Я сожгла его.

— Как низко вы пали! В чужой карман . . . Как блатнячка . . . Ступайте! Полина Львовна выслушивает мой рассказ чуть не в обморочном состоянии. На глазах ее слезы от страха, от жалости ко мне. Но упрекает она меня почти теми же словами, что Циммерман.

— Это ужасно! В чужой карман . . . Как уголовная . . .

Я просто сатанею от злости.

— Да ведь письмо-то мое! И не я первая в чужой карман полезла!

— Мы заключенные. Вас просто обыскали.

Самое страшное! Не только начальники убеждены в своем праве топтать в нас все человеческое, но и мы помаленьку свикаемся с растоптанностью. Вроде так и надо. Вроде для этого нас и Бог создал.

Только на короткую минуту и моя вспышка. А вот уже охватил, охватил липкий ужас. Обливает тело унижительным рабским потом. Что она со мной сделает, эта женщина, которой дано право выворачивать мои карманы, распоряжаться моей душой и телом? Хорошо, если только карцер. Не хочу, не хочу, не хочу! Не могу больше . . . А оказывается, могла. Еще много-много . . .

Расправа начинается этой же ночью.

— С вещами!

Нарядчица, которая спит со мной в одном бараке (прощай, барак obsługi, квартира лагерных царедворцев!), тихонько объясняет, куда меня поволокут.

— На Известковую! Ничего нельзя было поделывать. Уж больно ты ее разъярила.

Вспоминаю школу штрафников, известную еще с Магадана. Эльген — штрафная для всей Колымы, Мылга — штрафная для Эльгена, Известковая — штрафная для Мылги. Судорожно сую в мешок вещи — задрипанные мои, замызганные по этапам тряпки. С ужасом осознаю, что у меня нет ничего подходящего для такого пути: ни ватных брюк, ни крепких чуней. Бегала здесь по зоне в старых ботинках из маминой вдовьей посылочки сорокового года. А на дворе конец ноября. Больше сорока бывает.

— На чем ехать-то? — шепчет испуганная тетя Настя, дневальная. — Туда, говорят, на тракторе только.

Нет. Наша справедливая, но строгая начальница определила за мои преступления более строгую кару. Меня повели пешком. Семьдесят пять километров. Тридцать — до Мылги и сорок пять — от Мылги до Известковой. Девственной, мало хоженой тайгой. Конвоиры менялись на станках, а я все шла и шла. Может, и не дошла бы, если бы вахтер-татарин, у которого я детей лечила, не сунул мне при выходе из вахты узелок с едой, которую, видно, принес с собой на суточное дежурство. Хотел еще денег дать, даже повторял по-татарски: «Тукта, тукта, акча бар» . . . Но в это время на вахту зашел красавчик Демьяненко, который только что сдал смену. Он весело закричал мне вслед:

— Отгулялась, стало быть, в лекпомшах, а? Ну, другой раз будешь знать, как по карманам лазить!

Великолепные у него были зубы! И хохот звонкий. Вроде футбольный болельщик ликует при удачном ударе.

В узелке оказался хлеб, сахар и большой кусок холодной оленины.

Глава двадцать первая

ИЗВЕСТКОВАЯ

Конвоир, который вел меня до Двенадцатого километра, был, наверно, из блатных. Об этом свидетельствовала и его особая, с подшаркиванием,

походка, и те ругательства, которыми он меня осыпал. Они были на уровне последних достижений уголовного диалекта.

Я молчала-молчала, потом огрызнулась. Неужто он думает, что я нарочно иду медленно! Не видит, что ли, — на каблуках по обледелым кочкам шагаю. Да еще мешок за спиной!

Он посмотрел на мои ноги и, без всякой паузы, посыпал ругательствами в Циммерман. В таком виде, Щука чертова, шлет на пеший этап! Какого ни на есть, а все же человека! Потом задумался и деловито спросил, цела ли у ботинок подметка.

На Двенадцатом, где у нас был первый привал, выяснилось, что тамошняя бригадирша, бытовичка со статьей «притон», давно хотела «заиметь» что-нибудь на каблучке, и конвоир мой, которого она звала Колей, знал про это. Совершилась выгодная для меня мена. За поношенные материковские ботинки, только потому, что они на каблуках, мне дали бурки, хоть и подшитые, но вполне еще крепкие. Ступни ног, познобленные еще в ярославском карцере, доведенные до пузырей, до отморожения второй степени на лесоповале, были теперь защищены.

Я куда бодрее шагала теперь дальше, размышляя по дороге о том, какое счастье для всех нас русский национальный характер. К этому времени мы уже знали о зверствах гитлеровцев. Я содрогалась при мысли о том, как страшно сочетание жестокости приказов с тупой стопроцентной исполнительностью. То ли дело у нас! У нас почти всегда остается лазейка для простого человеческого чувства. Почти всегда приказ — пусть самый дьявольский! — ослабляется природным добродушием исполнителей, их расхлябанностью, надеждой на пресловутый русский «авось».

Еще раз убедилась в этом, добравшись до Мылги. Там царствовал некто Козичев. О нем ходили разноречивые слухи. Говорили, что мог растерзать, но мог иногда, без видимых причин, и помиловать. Лицо у него было насмешливое, с набрякшими веками и заметным нервным тиком. Он пожелал увидеть штрафницу, следующую на Известковую пешим этапом.

— Так что случилось-то у вас? — с любопытством глядя на меня, спросил он, а выслушав краткий ответ, аппетитно расхохотался. Не любил он свою непосредственную начальницу Циммерман. Настолько не любил, что позволил себе фамильярно хохотать в моем присутствии над ее неприятностями.

Старая истина: противоречия между угнетателями всегда на руку угнетенным. Так и тут. Отхохотавшись, Козичев вдруг сказал:

— В сопроводилке сказано, чтобы отправить дальше без ночевой. Ну да ладно, ночуйте! Кстати, и конвоя свободного сейчас нет. Идите в барак, отдыхайте. Обед и хлеб получите в столовой.

Нечаянная радость. Тем более, что в столовой выясняется: здесь поварихой Зоя Мазнина, наша, спутница моя по седьмому вагону. Двойную порцию овсяной каши она щедро поливает мне постным маслом. Оно пахнет подсолнухами, оставляет во рту воспоминание о когда-тошнем жарком дне, о чьем-то палисаднике, поросшем травкой.

Зоя отдает мне свои, совсем еще незаплатанные ватные брюки. Потом она плачет над моей горькой участью. Говорят, что Известковую обычный человек выдержать никак не может, тем более если сидит уже восьмой год и силенки на исходе.

На рассвете мы выходим из Мылги — я и конвоир. На этот раз попался хмурик, служака. Никаких разговоров с этапированной штрафницей. Он поведет меня четырнадцать километров, потом сменится.

Скрип-скрип... Дзинь-бом... Слышен звон кандалный... Как хорошо, что еще до кандалов не додумались! Интересно, заковывали ли женщин при царе? Оказывается, я не знаю этого...

Что бы еще придумать оптимистическое, ободряющее? Ну вот, хорошо, например, что родители наделили меня таким выносливым организмом! Другая бы уж давно рассыпалась вдребезги...

— Левее давай, — командует конвоир, и мы сворачиваем на какую-то обочину, где идти гораздо труднее. Приходится на каждом шагу лавировать между кочками, скользить по непробиваемой коре льда над застывшими осенними водами. К тому же начинает мести поземка, будет метель. Успеем ли пройти до нее четырнадцать километров до ближайшей точки, где будет смена конвоя?

Вдруг обжигает острая мысль. Ведь вот сейчас, вот сию минуту, можно все это очень легко закончить. Резко повернуть с этой обочины — и вправо... Да бегом! Выпукло, как на экране, вижу все, что произойдет вслед за этим. Только вот не уверена, предупредит ли этот служака, прежде чем выстрелить. Или сразу пульнет по инструкции — «Шаг вправо, шаг влево — применяется оружие».

Как ни странно, эта мысль несет мне какое-то утешение. Захочу — и распоряжусь своей жизнью сама. А захочу — подожду еще немного, посмотрю, что дальше будет.

За поворотом дорога становится ровнее, шаги ритмичнее. Под такой шаг можно и стихи себе читать. И я читаю...

(Однажды, уже в Москве шестидесятых годов, один писатель высказал мне сомнение: неужели в подобных условиях заключенные могли читать про себя стихи и находить в поэзии душевную разрядку? Да-да, он знает, что об этом свидетельствую не я одна, но ему все кажется, что эта мысль возникла у нас задним числом. Этот писатель прожил в общем-то благополучную жизнь, безотказно издавая книги и посиживая в президиумах. К тому же, хоть он и был всего на четыре года моложе меня, но все-таки плохо представлял себе наше поколение.

Мы были порождением своего времени, эпохи величайших иллюзий. Мы приходили к коммунизму не «низом шахт, серпов и вил». Нет, мы «с небес поэзии бросались в коммунизм». По сути, мы были идеалистами чистой воды при всей нашей юношеской приверженности к холодным конструкциям диамата. Под ударами обрушившегося на нас бесчеловечия поблекли многие затверженные смолоду «истины». Но никакие вьюги не могли потушить ту самую свечу, которую мое поколение приняло как тайный дар от нами же раскритикованных мудрецов и поэтов начала века.

Нам казалось, что мы свергли их с пьедесталов ради некой вновь обретенной правды. Но в годы испытаний выяснилось, что мы — плоть от плоти их. Потому что даже та самозабвенность, с какой мы утверждали свой новый путь, шла от них, от их презрения к сытости тела, от их вечно алчущего духа.

«А мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры...»

Нет, мы далеко не были мудрецами. Наоборот, с великим трудом пробивалась наша отягощенная формулами мысль к подлинному живому свету. Но тем не менее наши «зажженные светлы» мы все-таки сумели унести в свои одиночки, в бараки и карцеры, в метельные колымские этапы. И только они, только эти светильники, и помогли выбраться из крошечной тьмы.)

... Еще три конвоира сменилось. А я все иду и иду. И не помню уж на который день, только поздно вечером, уже при звездах, я

увидела окруженную сопками котловину, различила очертания кривых чернушек-баров, услышала знакомый вой, клубившийся над этим жильем. Даже мелодию блатной песни узнала.

Прибыли. Известковая. Штрафная из штрафных. Остров прокаженных.

А вот и сами они, чьи имена даже среди уголовных произносятся с суеверным трепетом. Вот Симка-Кряж, ожившая иллюстрация из учебника психиатрии. С отвисшей нижней губы тянется слюдяная нитка. Надбровья резко выступили над маленькими мутными глазками. Длинные тяжелые руки болтаются вдоль неуклюжего коротконового тела. Все знают: Симка — убийца. Бескорыстная убийца, убивающая просто так, потому что ей «не слабо». Сроку у нее уже лет сорок, но ей все добавляют. Потому что для «вышки» всегда не хватает улик. Сообщники боятся ее как огня и выгораживают, беря вину на себя. Лишь бы не навлечь на себя гнев Симки-Кряжа. Все знают, что именно она убила недавно в карцере зоны молодежную указницу — мамину дочку, посаженную в карцер на пять суток за опоздание на развод. Просто так убила. Потому что ей было «не слабо». Удушила своими бармалеевскими ручищами . . .

А вот отвратительная пучеглазая маленькая жабка — лесбиянка Зойка. Вокруг нее трое так называемых «коблов», Гермафродитского вида коротко остриженные существа с хриплыми голосами и мужскими именами — Эдик, Сашок и еще как-то . . .

Некоторых девок я узнаю. Их привозили на короткое время в зону для противосифилитического лечения, и я вкальвала им биохиноль.

Эти человекообразные живут фантастической жизнью, в которой стерты грани дня и ночи. Большинство совсем не выходят на работу, валяясь целый день на нарах. А те, кто выходит, так только для того, чтобы развести костер и, сгрудившись вокруг него, орать свои охальные песни. Почти никто из них не спит по ночам. Они пьют какие-то эрзацы алкоголя (до сих пор не знаю, что представлял из себя «сухой спирт», которым травились многие из них. Наверно, нечто вроде денатурата), курят что-то дурманящее. Откуда берут это зелье — непонятно. Огромная железная «бочка» раскалена докрасна. На ней эти исчадия все время что-то варят, прыгая вокруг печки почти нагишом.

Под стать девкам и здешняя вохра. Далеко они тут от начальства! И не только от материка, но и от Магадана. И кормят их отменно, довольствие повышенное, так как «контингент», с которым им тут надо управляться, считается трудным. А ежедневное общение с этим «контингентом» пробуждает в темных тупых солдатах самые звериные инстинкты.

И девки и вохровцы единодушны в органическом отталкивании от меня — существа другой планеты. Отдохнуть после пешего этапа мне не дают. Сразу кайло в руки (еле удерживаю его!) — и — давай, давай! — в известковый забой. В первый день я выполнила норму на четырнадцать процентов, и хлеба мне не дали. На второй — каким-то чудом начислили этих процентов двадцать один. Но и за них хлеба не полагалось.

— Не положено, — буркнул конвоир. — Командировка у нас штрафная. Пайка идет только со ста процентов.

Первые несколько ночей я просиживала на узле в углу барака. На нарах мест не было, и девки вовсе не собирались тесниться из-за фрайерши, из-за контрика, из-за какой-то задрипанной Марьяванны . . . Только спустя какое-то время Райка-башкирка вспомнила, что я ее лечила в зонной амбулатории, и, подвинувшись маленько, позволила мне положить рядом с ней мой узел.

... Я лежу всю ночь с открытыми глазами, и меня до спазм тошнит от отвращения к моей благодетельнице. Нос у Райки-башкирки совсем провалился. И хотя я твердо знаю, что люэс в этой стадии не заразен, но все равно — идущий от Райки густой запах гноя душит меня.

На Известковой, как в самом настоящем аду, не было не только дня и ночи, но и средней, пригодной для существования температуры. Или ледяная стынь известкового забоя или inferнальная жарница барака.

Я первая политическая, попавшая в этот лепрозорий. И в этом есть скрытый смысл. Недаром Циммерманша воскликнула: «В чужой карман! Как блатнячка!» Вероятно, по ее замыслу, я должна была осознать, что своим неслыханным поступком я поставила себя на один уровень с уголовниками. Лишь через год я узнала, что она сослала меня сюда ТОЛЬКО на один месяц. Так сказать, в чисто воспитательных целях.

На третий день моего пребывания на Известковой, когда мне все на свете уже было почти безразлично и перед глазами плыли золотые и лиловые круги, мне вдруг выдали кусок хлеба. Невзирая на то, что с выполнением плана кайловки дела у меня шли все хуже.

— На пробу даю. Можете за ум возьмесь, — буркнул командир вохры, искоса глядя на меня с какой-то непонятной тревогой.

Потом выяснилось, что в эти дни где-то, сравнительно недалеко от Известковой, рыскало начальство из Севлага. Не исключалось, что заглянет и сюда. Наше воинство, очумевшее от глухомани, от жратвы и спирта, от постоянной перепалки с девками, совсем потеряло ориентацию и не очень соображало, за что именно ему может влететь. Во всяком случае, акт о смерти им был к приезду начальства ни к чему. Так мне перепало хлебушка и еще немного отодвинулась развязка, казавшаяся неизбежной.

Но начальство, к счастью, проехало, не заглянув в эту котловину, не затруднив себя встречей с беспокойным «контингентом». Теперь можно было снова зажить так, как они тут привыкли.

В субботний вечер, уже после отбоя, дверь барака вдруг распахнулась настежь, чуть не сорвавшись с петель, и появилась вся известковая вохра в полном составе, а была она усиленная, человек десять. Ватага пьяных солдат ввалилась в барак так неожиданно, что я подумала: обыск. Но нет. В данном случае они явились по личным делам. Для смрадного, страшного, свального греха. Такого я еще не видела за свои восемь тюремно-лагерных лет.

Густой, пахнущий раскаленным железом жар валил от печки и смешивался с вонью от спиртного перегара. Визг голых девок вливался в nepотребщину и гоготанье пьяных озверелых мужиков. В них сейчас нельзя было узнать ни солдат, ни вчерашних крестьян. Какие-то сатиры, какие-то маски из театра ужасов.

Я натянула на голову ватный бушлат, съежилась, пытаюсь раствориться, стать невидимой. Но вот — рывок... Чья-то звериная лапа срывает с меня бушлат, и я лежу, как овца на плахе, а над моим лицом нависла широченная багровая лоснящаяся морда. В углу переносицы, у глаза, — темная родинка и из нее — два волоска.

Человек плохо знает себя. Рассказали бы мне про меня такое — не поверила бы. Но факт: порой случалось. В ярославском карцере я полезла драться с Сатрапюком, хватая его за чугунные кисти рук. Так же случилось и здесь. Я с диким криком, теряя контроль над собой, бросилась на зверюгу. Как в бреду. Кусалась, царапалась, толкала его ногами. Как получилось, что я смогла выскользнуть от него, — не знаю, не помню. Наверно, случайно ударила его в чувствительное место и он от боли отпустил на минуту руки.

Дальше начинается чудо. Это событие моей жизни я и до сих пор не могу объяснить при помощи обычной житейской логики. Я выскочила в полуоткрытую дверь барака и завернула за угол строения. Там стоял большой обледенелый пень. Я села на него как была, в одной рубашке. Бушлат упал на пол, когда я соскочила с нар, и поднять его я не успела.

Надо мной стояло огромное черное небо с яркими крупными звездами. Я не плакала. Я молилась. Страстно, отчаянно и все об одном. Пневмонию! Господи, пошли пневмонию! Крупозную... Чтобы жар, чтобы беспомощность, чтобы забвение и смерть...

За моей спиной содрогались стены барака. Оттуда все доносились бесноватые вопли и звон стекла от разбиваемых бутылок. Меня не разыскивали, никто не вышел вслед за мной из барака. Как мне потом поведали девки, мой зверюга долго изрыгал ругательства, выл, даже плакал, а потом свалился на пол и заснул. Остальным не было до меня никакого дела.

Сколько секунд или минут провела я сидя на пне — не имею ни малейшего представления. Помню только, как вдруг возник тонкий ритмичный звук, доносившийся со стороны дорожки, ведущей в тайгу. Кто-то идет... Кто-то приближается... Спокойно и ровно шагает. А вот и силуэт его стал проясняться на фоне сугробов. Теперь уже ясно видно: мужская фигура в лагерном бушлате, с мешком за плечами. В руке — узел. Подошел ко мне.

— Кто это тут? Батюшки, да это никак ты, Евгенья?

Это был голос человека одного со мной измерения. Этот человеческий голос так потряс меня, что, еще не осознав, кто передо мной, я бросилась к неожиданному спасителю.

— Да неужто ж тут так штрафуют? — взволнованно расспрашивал он. — На мороз? Голую?

Все было повседневно. Просто самое обыкновенное чудо. У ангела-избавителя все было нормально: и статья, и срок, и «установочные данные». И я теперь узнала его. Дядя Сеня из мужской эльгенской зоны, которую я тоже одно время обслуживала как медсестра. У дяди Сени статья легкая, СОЭ — социально опасный элемент. Он из раскулаченных. Большой мастер всякий инструмент ладить. Его начальство держит в зоне, чтобы был под рукой, но иногда посылает по точкам кой-чего подточить, подправить. А поскольку статья легкая, то и ходит дядя Сеня без конвоя. До Мылги вот сейчас на тракторе добирался, потом на попутных, а последний-то перегон — просто пёхом...

Он взял меня на руки и закутал своим бушлатом. Понес меня вверх, на горку, где стояла хавирка для инструментальщика. Знал он ее, бывал уже тут в прошлом-то году...

Дядя Сеня растопил крохотную железную печурку, вскипятил в своем чайничке растаянного чистого снега. Дал мне большой кусок хлеба и кусочек сахара. Он погладил меня по голове, назвал местных вохровцев сукиными котами, а Циммерманшу — проклятой Щукой. Под этн нежные слова я сладко заснула на двух досках, оставшихся от сломанного топчана. Не только пневмонией, а даже насморком я после этой ночи не заболела.

Глава двадцать вторая

ВЕСЕЛЫЙ СВЯТОЙ

Когда известковая вохра отоспалась после оргии, дядя Сеня передал командиру свой наряд на ремонт инструментов, а попутно, не теряя почтительности, растолковал ему: дескать, вот будет неприятность,

ежели эта штрафная политическая при объезде какого-нибудь начальства возьмет да и брякнет про то, что тут, мол, вохра . . . ну, сами знаете что . . . Оно, конечно, контрикам веры нет, а все же зачем тень на плетень наводить?

Чумовой, распухший с похмелья командир сперва матюкнулся и велел дяде Сене налаживать кайла, а в чужие дела не соваться. Но к вечеру вдруг вызвал меня и дядю Сеню к себе и, глядя в сторону, объявил, что с завтрашнего дня я больше не буду работать в известковом забое, а буду на подсобной работе — лес валить. При этом он назвал меня на «вы», а когда говорил обо мне в третьем лице, то даже на «они»,

— Дашь ИМ пилу получше и пушай пилят . . . Поскольку ОНИ сильно отощавшие и в забое не выдюжат . . .

Лесоповал считался здесь легкой работой. И действительно, все познается в сравнении. После известкового забоя я почувствовала себя в тайге как в отпуске, тем более, что дядя Сеня снабдил меня замечательно наточенной пилой-одноручкой.

Через две недели дяди Сенин наряд кончился. Наточив кайла и пилы, он потопал себе потихонечку, на попутных, обратно в эльгенскую зону, унося в мешке мои записки к друзьям с отчаянными призывами на помощь. Позднее выяснилось, что друзья действовали уже и до моих СОСов. Можно сказать, был организован комитет по спасению. В него входили и заключенные и вольные. Случай был трудный. Отменить решение Циммерман мог только Севлаг. Кроме того, существовать дальше, после всего случившегося, и в пределах Циммерманшиного королевства было уже невозможно. И мои друзья добивались не только отмены штрафного пункта, но и перевода в другой лагерь.

Пошла в ход сложная цепочка связей. Искали знакомых с такой высокопоставленной особой, как домработница начальника Севлага. Посылали подарки каким-то третьим и даже четвертым лицам, ища подхода к влиятельным.

На двадцать пятый день, уже еле держась на ногах, я прочла записочку, которую умудрился передать мне проезжий тракторист из бытовиков. Записка была обнадёживающая. Друзья просили меня продержаться еще немного: уже выписан на меня спецнаряд — медсестрой в Тасканский лагерь, в больницу заключенных. Это всего двадцать два километра от Эльгена, но другой ОЛП, вне власти Циммерман. Да, наряд есть, но Циммерман не выполняет приказа Севлага. Она опротестовала его в Магадан, в Главное управление колымских лагерей. Разъяренная вмешательством в ее священное право на мою жизнь, она пустилась в конфликт со своим начальством из Севлага.

«Коса на камень нашла, — разбирала я мелкие буковки записки, — надеемся, все будет хорошо. Вряд ли Селезнев допустит, чтобы Циммерманша над ним верх взяла. Так что держись . . .»

Я старалась изо всех сил. Тем более, что продержаться на лесоповале было возможней, чем в известковом забое. Правда, шел уже декабрь, но, к счастью, здесь почти не было ветров. Мороз стелился тихим, густым молочно-кисельным туманом. В двух шагах ничего не разглядишь. Тем острее я вслушивалась в окружающее, и слух все утончался, почти как в одиночке.

Что же я хотела услышать? Да прежде всего вполне реальное: скрип снега под ногами благого вестника — гонца Севлага, вдруг превратившегося в моего благодетеля. Но кроме этого, вполне разумного, прислушивания было и другое. Вот заухла какая-то таежная птица. Раз, два, три . . . Если еще три раза ухнет — значит, спасусь отсюда. Чуть

потрескивает полешко в догорающем костре. Если погаснет до того, как успею спилить это дерево, — значит, не спастись мне . . .

Вот так, наверно, и рождались приметы — в оконечном одиночестве, среди загадочных лесов . . .

Это случилось двадцать девятого декабря, почти под Новый год. В конверте, прибывшем из Севлага, лежало три ослепительных счастья. Первое — я уйду с Известковой. Второе — я больше не раба Циммерманши. Меня отдадут другому, по слухам доброму, барину — Тасканскому пищекомбинату. Третье — меня направляют прямоком в рай — в больницу заключенных при этом самом комбинате!

Вот я и в раю. И ничего удивительного в том, что рядом со мной, в роли непосредственного начальника — святой. Удивительно только, что это очень веселый святой. Так и сыплет анекдотами, острыми словечками, поговорками.

Можно подумать, что доктор Вальтер — благополучнейший частно-практикующий доктор, похожий на того балагура, что некогда приходил ко мне, семилетней, и, нажимая чайной ложечкой на язык, говорил: «А-а-а . . . Что же это вы, барышня, вздумали хворать перед самой-то елкой?»

А между тем Антон Яковлевич Вальтер сидит уже десять лет, с тридцать пятого. И срок у него — третий. Второй он получил в тридцать восьмом, в ссылке. Третий, свеженький, уже в лагере, в сорок третьем. Дело в том, что у доктора серьезное отягчающее обстоятельство: он немец. Крымский фольксдойч из Симферополя. В начале тридцатых годов в этот город приезжала за фольклором немцев-колонистов некая лингвистка из Берлина. Ей посоветовали обратиться к доктору Вальтеру. Действительно, он знал кучу шуточных и сентиментальных местных песенок и поговорок. С его чувством острого слова, с его умением слышать оттенки речи он был просто кладом для приезжей ученой дамы. Лукаво улыбаясь, сверкая своими неправдоподобно белыми зубами, он исполнил главные шлягеры своего репертуара, а лингвистка записала их.

Последствия этого интересного вечера сказались года через три, когда доктор Вальтер был арестован и обвинен в том, что он является членом некоей контрреволюционной группы, возглавляемой ленинградским филологом-германистом, которого симферопольский врач отродясь не видывал и с которым его роднило только знакомство с той самой берлинкой, собиравшей фольклор.

Приговор был мягок. Всего три года ссылки в Восточную Сибирь. Но тут подоспел тридцать седьмой. Все ссылные были повторно арестованы, и к тридцать восьмому году Антон Яковлевич получил второй срок, теперь уже на десять лет, по статье Каэрде, то есть контрреволюционная деятельность. Эта деятельность, по мнению следствия, заключалась в том, что врач настраивал больных против советского строя. Так, например, такого-то числа, проводя прием в районной больнице, сказал туберкулезному больному: «Вам не так нужны лекарства, как усиленное питание».

На Колыме, куда по второму приговору был отправлен Вальтер, сначала все было относительно терпимо. Врачи были нужны, и он работал по специальности. Но пришла война. Она зачеркнула для Вальтера и профессию, и стаж, и все личные его качества. Теперь важно было одно: он немец. Три года, проведенные на золотых приисках, на общих работах в забое, сломили этот крепкий организм. После ожога роговицы доктор потерял зрение на один глаз. Присковые

надсмотрщики переломали ему несколько ребер. Голод привел к острой дистрофии.

И все это еще было счастьем, личной его фортуной. Потому что остальные немецкие врачи, отбывавшие заключение на Колыме, были в это время уничтожены. Кто по суду, кто просто так, «при попытке к бегству». В том числе погиб известный одесский хирург профессор Кох, которого благословляли тысячи спасенных им людей.

А Антон Яковлевич легко отделался: всего только новым десятилетним сроком. Против него свидетельствовали лагерные сексоты. Конечно же, ему приписывались разговоры о нашем возможном поражении в войне. В дальнейшем выяснилось, что одним из «свидетелей» на этом третьем «процессе» был тот самый Кривицкий, что работал врачом на пароходе «Джурма» и спас меня от смерти во время морского этапа. Но об этом ниже.

За год до моего появления на Тасканском пищекомбинате полуживого Вальтера извлекли со страшного прииска «Джелгала» и поставили снова врачом. Я увидела его уже не доходягой. За год он отъелся, отлежался и, главное, быстро, с готовностью повеселел. Только мешки под глазами да вечно отекавшие ноги говорили о необратимых сдвигах в организме. Во время нашей встречи ему было сорок шесть лет.

Мы идем с обходом. Честь-честью. Как в настоящих больницах. Доктор Вальтер, фельдшер Григорий Петрович по прозвищу Конфуций, и я — новая медсестра. Из палаты в палату. От больного к больному. И с каждым доктор шутит. Сначала я недоумеваю и даже немного злюсь. Что это он делает вид, будто тут все нормально, будто эти еле закрытые от колымских стихий мрачные норы — действительно больничные палаты? Будто эти человеческие обломки и впрямь имеют какие-то шансы на излечение?

Вот мы у постели Бриткина. После второго инсульта он потерял речь. Вальтер улыбается ему с таким видом, точно тут дело пустяковое. Пей таблетки, слушайся медиков — и все пройдет.

— Здорово, друг! Ну, что нам сегодня скажешь?

— Бу-бу... ндра... лы-ы...

— Ну что ж! Хотя еще не Цицерон, но уже лучше вчерашнего. Он, видите ли, на воле был председателем колхоза. Так что к речам ему не привыкать... Не горюй, Бриткин! Скоро заговоришь! Только тренируйся больше. Ну-ка, поздоровайся вот с новой сестрицей. Привет... Попробуй, скажи так!

Бриткин рычит и стонет. Просто корчится в усилиях. А доктор улыбается и говорит нам с Конфуцием:

— Когда-то я своим дочкам Маршака читал... Про то, как девочка учила котенка разговаривать. «Котик, скажи «э-лек-три-че-ство»... А он говорит: «мяу!..»

Я не выдерживаю и тихонько дергаю Вальтера за халат. Нельзя так... Вдруг обидится больной...

Но, видно, доктор лучше знает своих пациентов. Бриткин преданно смотрит на врача и старается еще больше. Его рот и щеки в мучительных судорогах пытаются преодолеть непреодолимое. Он багровеет и наконец выкашливает какие-то слоги, вроде «ы-йет...»

— Ну вот видишь! — радуется Вальтер. — Вот ты и поздоровался с новой сестрой. «При-вет» — это у тебя уже выходит. А «э-лек-три-че-ство» — это в следующий раз...

У Кузовлева, бывшего матроса, пергаментная кожа так обтянула скелет, что хоть кости по нему изучай. Живот точно прирос к позвоночнику. Но матрос не потерял живости нрава, природной об-

щительности. Подолгу рассказывает соседям разные истории, начинающиеся стереотипно: «Шли это мы тогда Татарским проливом...» И абсолютно не догадывается, что ему в самые ближайшие дни предстоит отплытие в неведомый мировой океан. Наоборот, он весь в земных делах и заботах и свою затянувшуюся агонию именует недомоганием.

— Как самочувствие, Кузовлев?

— Да так-то ничего, доктор... Хотя еще есть, конечно, недомогание... Вот ноги чего-то ноют... Да и понос... Сегодня уж разов шесть в галюн бегал. И с чего бы?

— Это у тебя все от жира, — пресерьезно объясняет Вальтер, щупая пергаментную, присохшую к костям кожу.

Кузовлев щерится. Понимает шутки. Радуетя им.

У койки Березова врач становится серьезным и очень ученым. Он долго толкует с большим о новейших методах лечения туберкулеза, о спасительном действии пневмоторакса, который мы и здесь сможем применить, как только спадет температура.

Березов — бывший дипломат, один из близких сотрудников Литвинова, много лет прожил в Англии. Он слушает Вальтера, боясь пропустить словечко. Как мы доверчивы! Господи, как мы доверчивы, когда нам подают надежды! Хорошо, что Березов годами не видел зеркала. Иначе никакие докторские сказки о чудесах пневмоторакса не обнадежили бы его. Если бы он видел свое лицо, — щека щеку съела, — свою ввалившуюся грудь и эти глаза, горящие не только от высокой температуры, но и от маниакального желания выжить.

Идем дальше. Обход полон для меня жгучего интереса. Эти люди — отходы золотой Колымы. Они выжаты, пережеваны и выплюнуты присками. Большинство из них — политические мужчины с теми же «первосортными» трудными статьями, что и мы, эльгенские женщины. Я не видела этих НАШИХ мужчин, интеллигентов, вчерашний актив страны, с самой транзитки. Ведь те, что были на Эльгене, — другой сорт, то есть другой социальный слой и, соответственно, более легкие статьи. А эти — наши. Вот Натан Штейнбергер, немецкий коммунист, берлинец. Рядом профессор-филолог Трушнов, откуда-то с Поволжья, у окна — Арутюнян, бывший инженер-строитель из Ленинграда. Господи, во что они превратились!

Каким-то особым чутьем они сразу определяют, что я своя, и дарят меня теплыми заинтересованными взглядами. Они тоже жгуче интересны мне. Таких людей я знала там в обычной жизни. Теперь, после всех пройденных кругов, каждый из них стал точно непрочитанная книга и я жадно рвусь прочитать ее. Плохо только, что все эти книги будут с трагическим эпилогом.

А может быть... Может, и спасем кого-нибудь? Может, та активная деятельная доброта, которая движет каждым словом, каждым поступком этого удивительного доктора, окажется сильнее хозяйничающей в этих стенах смерти? Пересилит и голод, и истощение, и недостаток лекарств?

Кстати, о лекарствах. Я растерянно осознаю, что впервые слышу многие названия, которые доктор диктует Конфуцию, а тот записывает в книжечку, кивая своей здоровой азиатской головой. Что же это такое? Мне казалось, что я здорово поднаторела в лагерной медицине, а тут что ни слово — то загадка... Справлюсь ли? Конфуций замечает мое смущение.

— Не пугайтесь, что не все назначения вам понятны, — шепчет он, — потом разберетесь. Он ведь, доктор-то наш... — Конфуций оглядывается и, точно доверяя мне страшную тайну, объявляет: — гомеопат он!

Гомеопатических лекарств на Таскане, конечно, не было, но Вальтер сам изготовлял разные микстуры из таежных трав, применял в малых дозах кое-что из обычных средств, по-своему сочетая их. Всю эту аптекарскую кухню они с Конфуцием держали в строгом секрете. Санчасть Севлага пришла бы в священный трепет, узнав о подобном неглижировании всеми медицинскими догмами. О некоторых чудесах доктора Вальтера слухи до сануправления доходили, но никто не вдумывался в причины. Например, все слышали, что эпидемия дизентерии, недавно прогулявшаяся по лагерям и унесшая сотни жертв, почему-то миновала Тасканский пищекомбинат. Один только Конфуций знал, что врач подливает в официальный противочинготный напиток из стланника раствор сулемы в каком-то тысячном, а может, миллионном разведении.

— Охота головой рисковать! — ворчал добряк Конфуций. — Не дай Бог, пронюхают — расстрел вам! Тем более, она сулема! Воткуй им, что яд в микродозах может лечить! А вы немец! Убеди их, что вы не фашист, не убийца . . .

В конце больничного барака — две крошечные комнатешки. В задней спят они оба — Вальтер и Конфуций. В передней — процедурная.

— И лаборатория! — гордо объявляет доктор, показывая мне помещение.

Действительно, я замечаю на углу столике какое-то странное, почти сказочное сооружение из металла и стекла, увенчанное длинной трубкой, похожей на подзорную трубу Паганеля.

— Микроскоп! — с гордостью объявляет Вальтер. — Да-да, не удивляйтесь. Вы знаете, конечно, что имя изобретателя микроскопа — Антон? Антон Лёвенгук! Ну а данный микроскоп изобрел и самолично смастерил тоже Антон. Антон Вальтер!

Из каких-то отходов, подобранных на соседнем крохотном ремонтном заводике, он соорудил это трогательное неуклюжее чудо.

— Смейтесь, смейтесь! А кто, кроме нас, может в лагерной больнице сделать анализ мочи? Или определить РОЭ?

В этом я убедилась в ближайшее время и прониклась преданным уважением к нашему микроскопу, напоминающему своих фабричных собратьев примерно в такой степени, как тряский автомобиль Макса Линдера — современную машину. Но вслух я подтруниваю над этим инструментом и его автором. Автор отбивается и в свою очередь поддразнивает меня.

— Вот, скажем, после третьей мировой войны уцелеем мы с вами и еще несколько человекообразных обезьян. Я сразу примусь за просветительную работу. Объясню обезьянам двигательную силу пара, принцип электричества, радио . . . А вы, интересно, что передадите им из своего довоенного опыта? Стихи Блока?

Ослепительные зубы доктора, чудом сохранившиеся от всех авитаминозов, задорно поблескивают. Они — в смешном контрасте с его абсолютно лысой, как бильярдный шар, головой. Он сам говорит об этом так: «Когда Бог раздавал зубы, я стоял первым в очереди, а когда перешли к волосам, меня оттеснили . . .»

На вечерний амбулаторный прием я попадаю впервые в качестве наблюдателя. Мне велят присматриваться к работе Конфуция, которого я должна буду потом дублировать.

Присматриваюсь . . . Перед доктором стоит большой жестяной бачок, над которым он производит свои манипуляции. Он, точно мясник, вооружен каким-то примитивным орудием, которое, оказывается, называется у врачей «кусачки Люэра». Этими «кусачками» он быстро «откусывает» замороженные пальцы рук и ног, а Конфуций на ходу обрабатывает

операционное поле и перевязывает культяпки. Это считается здесь легкой амбулаторной процедурой. К концу приема бачок, наполненный гнилой вонючей человечинной, выносят два санитаря.

Поздно вечером усталый доктор моет руки и куда-то собирается. Его свободно пропускает через шахту в любое время.

— Тут один вольняшка обещал бутылку портвейна дать. Детей я у него лечу. Для Березова очень важно. Кроме того, Кальченко... Помните его? Нет? Как же, тот прощельга, что в самом углу лежит. Умрет завтра еще до обеда. Сегодня вздыхал: хоть бы хлебнуть еще разок перед смертью! Последнюю волю надо уважить...

Уже перед самым сном забегает из барака дружок доктора — берлинский коммунист Натан Штейнбергер. Он так красиво говорит по-немецки, что Вальтер готов часами слушать его.

Сегодня у Натана беда. Снова отморозил два пальца на ноге, уже было залеченные, зажившие.

— Так дело не пойдет, — ворчит доктор, развертывая на ноге Натана протертые лагерные портянки. Затем с полной непринужденностью доктор стаскивает со своих собственных ног шерстяные носки — дар благодарной вольной пациентки — и сует их отбивающемуся Натану. Совершив этот классический евангельский акт, доктор еще рассказывает парочку анекдотов, подтрунивает над Натаном по поводу того, что на воле тот очень боялся своей грозной жены. И Натан почти всерьез упрекает доктора: нельзя так спекулятивно использовать признания, сделанные в задушевных беседах. Потом, натянув на свои многострадальные ноги докторовы носки, Натан уходит, а доктор перед сном еще несколько минут потешает нас с Конфуцием веселыми происшествиями из дотюремной жизни «этого марксиста-теоретика и отъявленного подкаблучника». Кстати, жена Натана тоже, конечно, сейчас в лагере, только не на Колыме.

Кроме лечения доходяг на обязанности врача еще и вскрытие многочисленных трупов, патологоанатомическая документация.

Вальтер стоит над секционным столом, режет (анатомию он знает артистически!) и диктует нам с Конфуцием. Мы пишем протоколы вскрытий.

— А где же бессмертная душа? — задумчиво спрашиваю я однажды, после того как обработка трупа закончена.

Доктор внимательно вскидывает на меня глаза, становится непривычно серьезным.

— Хорошо, что вы задаетесь этим вопросом. Плохо, если вы думаете, что бессмертная душа должна обязательно локализоваться в одном из несовершенных органов нашего тела.

Конфуций тихонько подталкивает меня под локоть, кивает на доктора и таинственно шепчет:

— Католик... Ортодоксальный католик...

Веселый святой стал потом моим вторым мужем. Среди зловещих смертей, среди смрада разлагающейся плоти, среди мрака полярной ночи развивалась эта любовь. Пятнадцать лет шли мы рядом через все пропасти, сквозь все выюги.

Сейчас весь его необычный и яркий мир, все богатства, вместившиеся в этой душе, прикрыты бедным холмиком на Кузьминском кладбище в Москве. Или, может быть, я снова делаю ошибку, против которой он меня предостерегал? Опять ищу бессмертную душу там, где лежит только несовершенное, рассыпавшееся в прах тело?

Продолжение следует



Велга КРИЛЕ

Латышская поэтесса Велга КРИЛЕ родилась в Валиском районе, там же живет и сейчас. После окончания средней школы В. Криле училась на филологическом факультете Латвийского государственного университета им. П. Стучки. Стихи публикует с 1963 г. С 1977 г. — член Союза писателей. Издала книги стихов: «Желтые подоконники» [1966], «Березы» [1976], «Светотень» [1979], «Днем и ночью» [1982], «Не обманывай меня» [1985].

ТАВОЛГА

Перевела Людмила ГРЕБЕНЩИКОВА

СОБЫТИЕ

По цветущим лугам, по цветам мы бежали,
по цветущим цветами лугам.
Седовласый нас встретил, спросил:
«Вы не молодость ли сама?»
А внутри человечества войны кричали, и упал на дорогу
один,
Он лежал, и все мимо прошли, словно не было никого,
Он лежал, благоуханный ветер рвал
рубаху на нем.
И успел он сказать лишь одно нам: «Покой».
Может, в это мгновение мы были ему
невыносимы —
Здесь, на благоуханном ветру, все в цветах,
все в цветах . . .
На цветущих цветами лугах — а внутри человечества
войны кричали —
В доме или в душе — на дороге среди нас
незнакомец.
Он откуда бежал? И все мимо прошли
почему?
Я на благоуханном ветру поняла,
что такое пркой . . .

Две бесконечности лицо мое омоют,
Непостижимое, огромное НИЧТО
Безоблачно сомкнется надо мною.
В холодную уставясь темноту,
У трех воспоминаний буду греться . . .
Но я тебе открою красоту,
Коль осенью ты мне доверишь сердце.

* * *

— Куда подевались твои слова, единственные твои?
— Мама, они — молчание.
Этим летом зеленым было по-зимнему, так
по-зимнему зябко,
И у красного клубка красная слеза.
Ты понимаешь меня, сестра, ты понимаешь?
Что это за слова, на которые можно ответить лишь
«да» и «нет»?
И самые-самые мои — невысказанные мои,
Как нежно, словно мотыльки, они сейчас садятся
на цветок.
— Куда подевались твои слова, единственные твои?
— У толпы на устах, у раненого, послушай,
Мои единственные слова — его единственный крик,
Его пронзенная кровь, что на улице разлагается.
Ах, рождающиеся, как я люблю вас и как молчу
об этом,
Это единственные мои слова, ах, рождающиеся,
На сером камне родины певец слепой
Мои единственные слова поет.
И ель поет. Где слова единственные твои?
— Любовь, твои запрокинутые руки,
Закрытые глаза твои,
В которые никто смотреть не может.
— Куда подевались твои слова, единственные твои?
— Мама, они молчание.
Маленькая девочка — не я ли? — к тебе идет
По острым стеклам и лесным вершинам.

* * *

Не лей больше к лету. Так странно все, словно
Дожди вдруг из осени вспять полились.
И я говорю, но не выразить слову,
Какой это с клена срывается лист.
Он падает тяжело так и невесомо,
Что слышно падение это всю ночь.
Я рано проснулась — проститься у дома
И в путь проводить уходящего прочь.
Ни вьюги, ни ветра. И таволга строго
Сухая стоит, невзирая на дождь.
Как трудно, сктавав за собою дорогу,
Один ты в кромешную осень идешь.



Марис ЧАКЛАЙС — латышский поэт, прозаик, переводчик, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола республики, лауреат премии имени Андрея Упита — родился в 1940 г. в г. Салдусе. В 1964 г. окончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Издал на латышском языке около 20 книг — стихов, эссе, сборников для детей. Среди книг и переводов на русский язык: «Нешехол и вечность» (1969), «День травы» (1973), «Зов лесного голубя» (1979), «Огонь в ручье» (1985), «Дерево посреди поля» (1987), «Живущий знаков» (1988). Работает главным редактором газеты «Литератури ил максла».

МАЛЬЧИШКИ, СПИЧКИ ЗАХВАТИЛИ?

**МГНОВЕНИЯ, ВЫХВАЧЕННЫЕ ОГОНЬКОМ СВЕЧИ,
МИНУТЫ, ПРОМЕЛЬКНУВШИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СВЕТЕ**

В войну тогда не играли — война играла нами.

Детство, ты ведь бездонный омут! Знакомое и таинственное, ты раскрываешь свои объятия, но не удержишь в них. И остается у кого обломок коряги или ракушка, пучок травы или горсть морского песка. Впрочем, много песка, много.

Когда ныряю в те ранние годы, первое, что всплывает навстречу, — это светло-коричневая коробка из-под сигар с красивой дамой на крышке. Курземе, сорок третий или четвертый год, верхний этаж нашего дома заняли немцы — отряд связистов. На родине у каждого из них остался свой пострел, а здесь на весь дом я единственный ребенок, и моя коробка из-под сигар всегда полна сладостями. Шоколад в серебряной обертке, марципан в целлофане...

Ранний вечер, светловолосая соседка

напевает: «Солнца лучи золотые тонут в Даугаве тихой...» В фильме Фасбиндера «Лили Марлен», повествующем об истории создания этой в свое время известной песни, о судьбах автора музыки и первой исполнительницы, есть монтаж, где на фоне этой мелодичной, лирически-мечтательной и в то же время мобилизующей песни дымятся бункеры, рушатся дома, поднимаются в атаку солдаты, падают и больше не встают. Много их падает, много...

Мне, значит, годика два, я сижу в теплой комнате, за стеной что-то поют на тирольский лад баварцы-связисты, они пекут блины; а далекий Янис ползает по детскому барaku «Саласпилса», будущий однокурсник Андрис хлебает баланду где-то в далеком доме в Татарин. Да что это я, не время и не место рассказывать здесь о других. Сознанию малого ребенка достаточно того, что он видит вокруг себя — он суверенный центр своего суверенного мира. А те баварцы-связисты — кто они были: палачи истории или ее статисты — этого уже не скажет никто. Только с тех пор,

как я осознал эти неясные взаимосвязи, я знаю, как все же ничтожен смысл нашего непосредственного опыта. Но ведь единственно он принадлежит нам истинно и всецело. Он наш, он неотступно с нами, но он не всеобъемлющ. Верь своим глазам, но не только им.

Как-то днем из окон второго этажа, где жили связисты, свесились белые простыни. Лужи у забора еще не просохли, вдоль стены деревянного сарая — следи. Немцы покинули дом, они толпаются среди больших деревьев парка, там, в бывшем баронском поместье, у них лазарет, там они собираются, чтобы сдать в плен, но комнаты привели в порядок, у сарая сложены книги. Ровными стопками, как дрова в поленице за дощатой стеной. И сверху какая-то машинка — черная, с блестящими кнопками. Хочется дотронуться, но боязно — вдруг заработает! А на каждой кнопке буква — некоторые из них я уже знаю. (Когда осенью 1978 года я вернулся из поездки по Америке, меня многие спрашивали: «А какие там автомашины?» Все, что я мог ответить, это — «Ну, такие... длинные». Ни обтекаемые формы автомашин, ни летные качества авиалайнеров, ни самые благородные их силуэты, ни чудеса японского или датского искусства конструирования не восхищают меня так, как дизайн пишущей машинки. Небольшая машинка, привезенная Райнисом из Швейцарии, до сих пор кажется мне самым интересным экспонатом музея поэта.) То была пишущая машинка — стучала свои периферийные донесения (фронт до нас так и не дошел) и ненужные приказы. Ее латинский шрифт наверняка пригодился и после войны, как пригодилось многое из военного имущества.

В конце сороковых башмаки детям мастерили из автопокрышек, и в Пампали, куда я ходил в школу, шесть километров туда и столько же обратно, полкласса ходило в таких башмаках. Мальчишки постарше щеголяли в зелено-бурых пятнистых куртках защитного цвета, а у моего троюродного брата был ранец с верхом из настоящей телячьей кожи. Но когда я надевал свой летчикий шлем, который мне, разумеется, был великоват (но раз все же годился, то и у летчика голова была не только-то большая), слышен мне был только ветер, пытавшийся ворваться в мой мир тишины.

Во что мы играли, какие у нас были игры?

В войну, в войняшку, как сейчас говорят, не играл никто.

На зеленой поляне между бойней и Народным домом на старом чехле от мотора автомашины мы устраивали магазин, здесь за самодельные деньги шла реализация весьма стоящих товаров — конфет, карандашей, даже папирос (кое-кто из мальчишек постарше украдкой покуривал). Хотя товары поставляли все, мне делать это было легче других — как-никак оба родителя продавцы, так что глаза мальчишек чаще всего были обращены на меня. И в неприятностях, к которым рано или поздно приводят подобные затеи, чаще всего винили меня.

Пускали кораблики из сосновой коры и на пруду, и на реке, где под мостом сновали налимы; повалившись навзничь в траву, глазели на облака, пытаюсь поймать момент, когда конь превращается в дракона.

Если это надоедало или если облака проносились над землей редкими ключьями, не сулившими дождя, мы бежали на гравийный карьер, в крутом обрыве которого откопали ящик с патронами. Теперь не вспомнить, чья это была идея — мы выламывали из патрона пулю (если наловчиться, это совсем нетрудно) и вставляли ее обратно. Когда каждый из нас таким образом обрабатывал горсти две патроны, мы кидали их в костер, разведенный неподалеку, в изгибе карьера. — Джи-ит-сс! — свистело во все стороны.

Когда до нас дошли вести о первых жертвах подобных игр, мы призадумались, а когда мы уже жили в Пампали, где линия фронта держалась с полгода, эта задумчивость переросла в страх, который (мне не стыдно в этом признаться) сопровождает меня всю жизнь. Но в то, еще дошкольное лето я таскался за большими мальчишками, которые отыскивали в сене или под стрехой упрятанные автоматы и время от времени тренировали руку, при этом хорошей целью (наверняка попадешь) служили двери сараев.

Эпизод, о котором хочу рассказать, достоин того, чтобы энтузиасты борьбы с курением использовали его в своих лекциях. Как я уже упоминал, мальчишки постарше то и дело покуривали. Нет, нас они не заставляли, но если мы напрашивались, давали и нам. У меня, каждый день видевшего на полке мага-

зина «Беломорканал» или «Казбек» с красивым горным хребтом на вызывающей уважение коробке, которая могла пригодиться для разных важных целей, эти «привычные» магазинные папиросы интереса не вызывали. Отец Валдиса табак выращивал сам, табаком был выслан весь чердак в доме моего друга. Можно бы, конечно, табак мелко потолочь и попробовать напихать им специальные гильзы, которые тоже были в магазине, но мы как-то увидели, что табак закручивают в клочки газеты.

Вот мы и принялись закручивать. Легли, как это делают во всех курильнях мира, только не потому, что так делают во всех курильнях мира, — мы легли, чтобы нас сквозь деревья аллеи не увидели взрослые. Затянулись разок глубоко-глубоко. Перехватило дыхание, в глазах все поплыло, но, может, надо еще глубже? Затянулись по-новой и продолжили это занятие сквозь приступы кашля, пока не начало мутить и я не извергнул в ближайшую яму свой обед.

Еле притащился домой, рвота продолжалась весь вечер. На меня беспрестанно обрушивались два вопроса: «Что с тобой?» и «Чем от тебя несет?» Меня срочно уложили в постель. Тошнило и весь следующий день. Этого сеанса мне хватило примерно на двадцать лет. Позже за компанию иногда покуривал (чтобы было куда деть руки), но в принципе в тот раз я откурился навсегда. Да, разве что еще стоит добавить: мой отец тоже не курил и курильщиков не терпел.

Отец... Ведь ему было всего лет тридцать, правда!

Мой отец, Фрицис-Алберт Чаклайс, родился в той стороне, где Стрики — Жварде. Когда в мои мальчишеские годы летом ездили туда косить сено, отец показывал примерно то место, где состоялось его появление на свет. Особого сентимента в его голосе при этом не чувствовалось, потому что с ранних лет, оставшись без отца, без матери, он жил у бабуки в Салдусе. Правда, когда отец вспоминал ее, особенно в последние свои годы, на глаза у него наворачивались слезы.

Окончив четыре класса, отец стал работать. Вначале в бригаде по ремонту дорог, позже на складе, потом в магазине, — в мелиорации — это уж после, году в 1950-м.

В ранние годы моей жизни обо всем этом подумать было некогда, отец склонностью к философским рассуж-

дениям не отличался, только сейчас я свел воедино кое-какие моменты его, а значит, и своей жизни. — Несколько мгновений, выхваченных огоньком свечи, несколько минут, промелькнувших в электрическом свете.

Конечно же, как и у всех, многое в нем было запрограммировано еще в детстве. Во всяком случае, основа жизнеспособности всегда складывается в то время, которое потом каждый из нас заключает кто в золоченую, кто в серебряную рамочку.

Во-первых, светлая натура отца, его веселый нрав, неистребимый оптимизм. Кое-что, возможно, ему передалось с генами, но больше всего обречено все в том же трудном детстве. Куда он прятал свои трудности, неудачи, опасения, страхи, черные дни? Во всяком случае, я ничему подобному свидетелем не был. И вряд ли все это, как и другие его сверстники, топил он в вине. Уносили солнце и ветер? Смывали дожди? Выступивал холод? Конечно же, конечно, но главным образом во всех переменах, свидетелем, вернее участником которых он был, выстоять помогла этакая жилистость.

Отец никогда не сидел без дела, вечно ему надо было что-то подправить, приладить, подогнать, переставить — у латышей вообще много слов, обозначающих действие. Отец многого не умел, я увидел это в более поздние годы. Во-первых, потому, что сам стал взрослее. Во-вторых, потому, что после нескольких лет скитания по чужим подворьям мы как-то в одно лето в Салдусе слепили небольшой дом, и, естественно, для нас начались все хлопоты «домовладельцев». Но отец и в поздние годы столькому научился! Всякий раз, приезжая домой, я удивлялся — опять что-то новое.

Деятельность заразительная. Разумеется, дело, которым я занимаюсь вот уже лет двадцать, — совсем иного плана, вроде бы легче, вроде бы труднее, кто это скажет, но если дня на два я разлучаюсь со своими бумагами, я болен. От отца мне передавалась не только потребность действия.

Составной частью его трудолюбия была потребность работу завершить. Сделай все до конца, почисти, убери, тогда уж и радуйся. Вспоминаю утомительность пилки дров, я, наверное, и попискивал, и пытался «ускакать», как говорил отец, но когда через несколько дней у сарая выростала желтая полен-

ница, я испытывал гордость сопричастия.

Очень рано отец нас, мальчишек (в нашей семье рос мой троюродный брат, сын родни со стороны матери), стал брать с собой на работу.

И за это я благодарен ему больше всего. Во-первых, было это в Падуре, за Кулдигой, куда мы переехали жить и где отец работал в мелиорации.

Трехкилометровый путь в школу — и все лесом — по сладкой прели опавших листьев, по горюливому снегу, по морям грязи и океанам луж, через просеки, запах смолы, сквозь метели — в жар и в холод бросает, когда вспоминаю. Но как без всего этого я бы сегодня писал? Еще и сегодня черпаю из колодца тех дней.

От отцовской работы больше всего осталась в памяти та пора, когда мы жили в Лутрини, — было это в начале пятидесятых годов. Наш дом стоял неподалеку от Салдусского центра мелиорационной техники, и мы, дети, всегда были в курсе всех происходящих там событий.

И не только это. Довольно рано я стал помогать отцу заполнять документы, так называемые наряды, и другие бумаги. Помню длинные белые и голубые бланки. Как он при своих четырех классах образования справлялся с этим! Сдается, его выручали интуиция, деятельный ум, способность быстро усваивать новое.

Документы документами, но вот была радость, когда через несколько лет меня и других мальчишек, таких же и чуть постарше, приняли, совсем по-настоящему приняли на работу — у обжиговой печи нагружать и в поле выгружать дренажные трубки. Забылись их размеры, но пальцы до сих пор помнят, как ловчее и сколько трубок ухватить, чтобы не перебить и дотачить до места.

... Ветер в ушах, начинает барабанить дождь, но у нас брезент, и под ним целый мир. Потом вдруг солнце, вновь ветер, и деревья шумят над головой — вся жизнь впереди! Наш загар был чернее, чем у других, и, сдается, гордости тоже в нас было больше. Помню вязание фашин для укрепления бортов канав. Разумеется, укладку фашин мне еще не доверяли, но зато после того, как я «показал себя» на сортировке веток — годные на вязанье, негодные в костер, мне дали топор. Когда несколько лет назад, в очередные Дни поэзии, я оказался в царстве Яниса Блума,

в колхозе «Яунас комунарс», мне стало тепло от накатившей волны местного патриотизма, от сознания того, что часть зарослей ольховника, надеюсь ненужных, уничтожил и я.

Отец был полон почтения к некоторым колхозным председателям, с которыми ему приходилось сталкиваться по работе, например к уже упомянутому Блуму, к председателю колхоза «Пампали» Белсону, еще к некоторым. Со многими из них он был в доброй дружбе.

Хочется чуть ли не клясться, что деньги в то время не имели столь фетишизированного, столь довлеющего значения. Скорее всего потому, что особенно-то нечего было покупать и люди еще не пустились в погоню за той миражеподобной целью, которой невозможно достичь. Мы были сыты, одеты, а заработанные деньги придавали нам серьезности.

Разумеется, зеленым юнцам вроде нас, оказавшимся в сугубо мужском обществе, порой приходилось испытывать на себе весьма шершавый юмор. Меня посылали за «стеклянным молотком», просили принести «компрессию», но никогда я не слышал от мужчин мата. Может, они не матерились лишь в присутствии детей? Да нет же, они не матерились вовсе. Как-то обходились. «Главное — не умная голова, а легкие ноги» — то была одна из любимых поговорок отца. Я столько раз ногами проверял ее справедливость, что в конце концов она засела мне в голову.

И еще одна поговорка отца. В моменты, когда мужской разговор грозил затянуться в драматический узел, отец пускал в ход свое: «Стой смирно!» И после паузы добавлял: «Землю получишь». Иногда следовало еще одно добавление: «Добрый кусок получишь».

Будучи человеком сельским, отец свои молодые годы проработал, как сейчас бы сказали, в торговле. Во второй же половине жизни не только на работе, но и дома ему все больше приходилось иметь дело с землей. Неизведанную радость испытал он, видя, как поднимаются яблоньки в саду нашего салдусского дома. Мне думается, это приятное чувство, когда видишь, как в твоём саду твои внуки рвут яблоки с посаженной тобой яблони.

В феврале 1979 года отец обрел свой вечный надел.

Но я считаю, что он жив — не только во мне и моих детях, но в какой-то мере

и в тех зеленых лесах, в желтеющих нивах и весело бегущих водах, во всей той картине, которую так трудно было привести в порядок в послевоенную пору, когда его поколению суждено было прожить свои лучшие годы. Жив в той жажде трудиться, в той радости труда, что он передал по крайней мере одному поколению своих потомков.

Человек — составная часть природы в такой мере, что ощущается в ней не только в течение своей физической жизни. Присмотритесь к силуэтам деревьев и кустов, взгляните на облака перед дождем — разве вы не видите там профили близких вам людей?

Разные наплывают профили . . .

Мой друг Валдис был на год старше меня и жил в другом конце парка, напротив старых баронских теплиц, где барон когда-то, на удивление всей округе, выращивал виноград.

Я был Марч, а Валдис был мой Валдис из «Детей Стабурага». У нас, правда, не было ни Даугавы, ни Стабурага, зато все остальное было — речушка и гравийные карьеры, были замок и парк, и склады старого поместья.

Ух, склады, и сейчас мурашки по спине. На пути от парка к дому чернело длинное каменное строение, двери разделяли его как бы на закрома. В некоторых люди из ближайших домов хранили картофель и кое-какой инвентарь, большинство же закромов пустовало. В один из них мы ходили смотреть кино. Разумеется же, никто из нас никогда не видел никакого кино.

Как это — не видел кино? Ни мультфильма, ни хоккея, ни «В мире животных»? Не может быть . . . Но было. Зато я уже стрелял из автомата, курил настоящий табак, видел немцев, прятал от бандитов парторга и пережил такое, что не дай бог кому-нибудь пережить . . .

Итак — «кино».

Во-первых, разумеется, надо было убедиться, не выслеживает ли нас кто, потому что какое уж там кино, если вдруг открывается дверь и раздается: «Что ж это вы среди бела дня в темень поналезли!»

Нет, посты сообщают, что на этот раз никто нас не заметил. Глаза еще не привыкли к темноте, ощущью, спотыкаясь, мы пробираемся вглубь, где на куцах недавно наколотых дров разместились остальные зрители. Там и Валдис со своей старшей сестрой, она пришла посмотреть, чем мы тут занимаемся; там и немчик Вольфганг, забредший

с матерью в наши края из своего Кенигсберга, теперь помогают в магазине; там и два брата из пасторского дома. Свет неумолимо пробивается сквозь ставни, но мы прихватили из дома одеяло. Только еще не настало время для сеанса. Сейчас время прелюдии — рассказов о привидениях. Те, кто постарше, знают их больше — больше видели. Мурашки по спине, но интерес притягивает, иногда делается нестерпимо жутко, хочется залезть под подушку, накрыться одеялом с головой. Но кровати нет, — как хочешь, так и справляйся со своим страхом.

И вот атмосфера накалена, щели в ставнях надежно закрыты одеялом. Вначале не видно ничего, потом кто-нибудь истощным голосом как завопит: «Вон оно-о!» — «Где, где?» Все мгновенно затихают — с противоположной стены на нас смотрят холодные, неумолимые глаза. Сколько раз я бывал там, и всегда глаза показывались в одном и том же месте. Момент ледящего оцепенения, затем чей-нибудь вопль, потом хор воплей, и вот, завывая во все горло, мы бросаемся оттуда кто куда — одни в сторону магазина и маслобойни, другие рассасываются по тенистым дорожкам парка.

Рассказывали, будто в стену когда-то была замурована девушка, будто это ее глаза блестят в темноте, — какой же замок без своего предания! До сего дня так и не знаю природы появления этих глаз, но жуть они нагоняли основательную.

Почти двадцать лет спустя я бродил по калининградскому собору, его стены при бомбежках устояли и находящаяся у одной из них могила Канта не пострадала совершенно. В оконных проемах и над головой, где вместо потолка голубело небо, летали вороны и голуби, кругом ни души. И вдруг меня пронзило ощущение, что здесь есть кто-то еще. Уже испытанное когда-то в отсеке баронского склада ощущение жутки. Оборачиваюсь — никого. Потом вижу: в одной из ниш на высоте нескольких метров хлопочут две мальчишеские фигурки. Убедившись, что мое присутствие им ничем не угрожает, они продолжали свое занятие — малавать скелет. Причем не белой, синей или красной краской, а фосфорной, чтоб в темноте светился. Как же детство неизменно — они готовили прелюдию к своему сеансу, к своему «кино». Ау, мальчишки!

В сорок восьмом году бандиты повесили в баронской клетке парторга волости, и с того времени наше кино прекратилось. Парторга вместе с тремя убитыми активистами — комсомольским секретарем волости, шестнадцатилетним комсомольцем, его отцом и еще одним товарищем — нашли в лесу, в яме. Похоронная процессия шла, повторяя извивы апрельской гравийной дороги. Справа оставалось старое кладбище, когда-то, проезжая здесь, отец показывал мне блуждающие огоньки, на таких кладбищах в Курземе будто бы деньги сушат; мы же повернули к новому кладбищу — вся школа. У нас, первоклассников, в руках были собранные по краям парка и в рощице за речкой голубые подснежники. В голове колонны играл духовой оркестр, солнце крепко пригрело, теплым был тот день, и подснежники в наших ладонях опустили головки.

Потом по поселку пронесся слух, что среди оркестрантов было несколько участников ночного нападения.

Курземе в ту пору была полна людьми со всей Латвии: ушедшими от надвигающегося фронта, пригнанными немецкой армией.

В это время в магазине появился молодой парень, шестнадцатилетний Даумант, начал помогать таскать ящики, торговать.

И странно как-то получалось: едва только в магазин завозили товар, а масляная приготавливала к отправке свою продукцию, заявлялись люди из леса. Обычно ночью. Телефон обрзан, в окне — для устрашения — показывается так называемый кулак-скуловорот, и затем или сами взламывают дверь магазина, или заставляют отпирать под дулом пистолета. Жители поселка, как правило, согнаны в один из домов, чтобы не разбежались, а те, в чьих руках сила, — крест-накрест две ленты с патронами и вместо ремня третья, — распоряжаются. Мужчин каждого заставляют выпить пол-литра, женщин — четвертинку. Когда директор школы отказался, у его горла возник нож. Этаким игрушечный мечик с деревянной ручкой — как у нас, поселковых мальчишек. Только этот мечик мог все — резануть, пырнуть, заколоть — смотря что подсакает мозг, разгоряченный злобой и алкоголем...

Это я не эпизод из фильма рассказываю, в этих «съемках» я участвовал, статистом правда, но участвовал.

Даумант оказался бандитским связным, и его застрелили в ходе одной из истребительных операций, неподалеку от бункера. Застрелили вместе с Миной, сыном Мика.

Мик был красивым легавым псом. Скорее всего он был не крупнее других собак своей породы, но мне он тогда казался не только большим, а просто огромным. Для него шили специальную обувь, как шьют для лошадей, и зимой он катал нас на санках. В поселке даже детский велосипед, который отец привез мне из города, был для всех диковинкой, на меня так и глазели, когда я катил от Народного дома до Валдисова двора и дальше мимо парка до самой аптеки. Но то, что Мик мчал меня через все пригорки, что он знал, куда бежать, казалось просто чудом. Если я в очередной раз вываливался из санок, а случалось это часто, Мик не уносился прочь, он оборачивался и возвращался, виляя хвостом, — мол, непредвиденное препятствие, не обижайся, так уж вышло...

Единственное, чего он, в отличие от нас, не мог, так это говорить. Он дожил до глубокой старости и совершенной немощи, и когда я, приехав в гости к своей крестной, где пес дождался на правах ветерана, уж не застал его, я плакал долго и безутешно.

Миная приходился Мику сыном, тот, видно, избрал сучку не шибко благородных кровей, поэтому Миная вышел довольно приземистым, толстобрюхим и лохматым. Лихая, наверное, по крайней мере нам так казалось, была картина: мы мчимся в кузове грузовой машины — обе собаки, взобравшись на скамейку, передними лапами упираются в крышу кабины, мы, мальчишки, посередине между ними, и полон кузов охотников, усевшихся прямо на пол. Когда приближался район болот, а собаки узнавали его на самых дальних подступах, они становились беспокойными — чуяли воду, чуяли уток... И как же ловко они шлепали за сбитой из ружья уткой, как пускались вплавь, с какой победной радостью бросали утку к ногам хозяина и тут же вновь навостряли уши: в каком направлении прозвучит следующий выстрел.

Миная, еще молодой и дурашливый, охотнее участвовал в наших забавах, легче легкого было спровоцировать его на возню и беготню.

Миною сманил Даумант в свой лес, к своим лесным хозяевам — и больше

мы ничего о нем не слышали, пока не узнали, что его застрелили во время одной из схваток.

И как странно — почти через сорок лет два родных существа падающими звездочками сверкнули среди этих пестрых строчек, я словно вновь услышал лай моих собак, воскресивший во мне особую, щемящую любовь.

Средняя часть Курземе, где суждено было пройти моему детству, казалось, состояла из глины, гравия и лесов, огромного множества лесов. Весной, когда глина вспухала, как подошедшее тесто, непролазными становились даже большие дороги, не говоря уж о малых. По полгода приходилось месить раскисшую глину резиновыми сапогами (и часто ли они были по ноге?), это вырабатывало у жителя Курземе особую походку: пяткой припечатывает, будто трамбует. Когда-то я стеснялся своей походки, особенно в подростковую пору и в первые годы в городе, пока до меня не дошло, что в моей ситуации было бы глупо строить из себя любителя фланировать по бульвару.

Деревья . . . В поселке не осталось ни одного целого дерева — в борьбе за полтора десятка домов погибло семь тысяч солдат Красной Армии, по большей части ребят с предгорьев Кавказа и из Средней Азии. Еще и сейчас время от времени, особенно в дни военных годовщин, сюда съезжаются их матери, закутанные в платки старушки, все спрашивают у директора школы, где именно, на каком поле, в каком лесу погибли их сыновья. И ходит мать по полю и бросает шоколадные конфеты, ходит и бросает . . .

Да, деревьев в поселке не осталось, лишь стволы, наподобие телеграфных столбов, да еще кусты, к которым не разрешали подходить: разве могли саперы все обезвредить, когда тут был заминирован каждый куст, каждый пенёк и каждая кочка.

Единственными уцелевшими деревьями были деревья у домов — в Курземе у порога всякого порядочного дома должны расти деревья.

Наши дуб и два клена остались целы и невредимы, в них прятались дети.

Дом моего деда, портного Калнакарка, сгорел, сад изрыли воронки, однако на том же фундаменте, в одном его конце, поднялась гораздо более скромная, но все же новостройка. Сам Янис Калнакаркл, портной и книжник, в молодости актер-любитель, поев

брусничного варенья и не дождавшись конца войны, умер 1 июля 1944 года в возрасте 69 лет. Книги, старые журналы и кое-какую посуду домашние закопали в саду, но, как назло, именно здесь немцы стали рыть линию обороны. Могу представить, как они обошлись с латышскими книгами — весны в Курземе прохладные, а книги хорошо горят . . .

Дедовская швейная машинка фирмы «Зингер» с обгоревшими деревянными частями, стоявшая в нашей беседке под деревьями, вызывала в нас такое же почтение, как сепаратор, ручку которого нам иногда давали покрутить.

Теперь вот уже более сорока лет дед покоится там, на Занениекском кладбище, где заключенные в бетонный прямоугольник островки декоративной травы плавают в невообразимо разросшемся море зелени.

Через полтора десятка лет за своим мягким, лиричным мужем последовала его строгая и властная жена, моя бабушка Паулине.

Про ее властность я, правда, лишь от других слышал, ко внукам всегда была обращена светлая половина ее сердца. Поэтому, когда я уже подростком в конце пятидесятых вместе с отцом приехал проводить бабушку к ее деду и был трескучий мороз, меня невозможно было уговорить остаться дома. Ноги и грудь мне укутали газетами, и умно поступили — на кладбищах всегда холодно, а в тот раз стужа была невыносимая.

Когда прошлым летом я вновь побывал на этом кладбище, я задумался над тем, какой короткий промежуток времени человек одевает других и какую долгую вечность одевают его самого — в белые стволы берез — словно денди в белые брюки, в зеленые листья — зеленую жилетку, в голубое небо — нежно-голубое одеяние. И не ноет к перемене погоды позвоночник, сломанный в молодости при падении навзничь на мельнице — те, кто умерли, вечно молоды . . .

В конце шестидесятых годов мы с няней моих детей, дальней родственницей Августой Левиц, осенними вечерами пытались восстановить мое генеалогическое древо по материнской линии. И оказалось — сколько человек было в роду около ста лет назад, столько же примерно и сегодня. Разумеется, бывает более оптимистический баланс. Но немало и куда более печальных. Войны и революции, скитания бежен-

цев и высылки, горящие дома и горящие книги, и в центре всего этого — хрупкая, как стекло, непрочная, как папиросная бумага, человеческая жизнь . . .

Переезд из Салдуса в Кулдигу в 1950 году был вторым моим большим путешествием, в шутку даже можно бы сказать, началом моей литературной деятельности. Глинистая дорога, гравийный посад на току, леса и кустарники, кустарники и леса, и затем — лирически-монументальный кирпичный Кулдигский мост. Длиннейший в мире цвета ржавчины Золотой мост Сан-Франциско не вызвал у меня такого восторга, как этот, соединивший берега Венты. Вента в ту пору еще не была заполонена водорослями, а текла стремительно, и на городском ее берегу издалека был виден построенный в национальном стиле, знакомый по открыткам киоск, который позже спалили решившие там вздремнуть кулдигские пьяницы.

— Змеи! — вскрикнул я, зайдя в крайнюю комнату дома, куда взрослые еще не успели занести вещи. Более года, с прошлой весны, дом стоял пустой, хозяева уехали на лесозаготовки в тайгу, и здесь успели поселиться ужи. Ужи — это же к счастью, — сказал кто-то. Позже мы выставляли блюдецки с молоком, только . . . ужи не вернулись.

У самого дома был полужаросший пруд с банькой на берегу, над которым склонялись ивы и лозы и где шла интенсивная жизнь водяных микроорганизмов, жуков, водяных блох, водомерок и водяных червячков. В бане моя обязанность состояла в том, чтобы поливать водой раскаленные кирпичи — ух, как они шипели в ответ, как выстреливали языками пара — дракон шумно поглощал воду.

Мне нравилось приходиться в баню и среди недели, когда жаркое страшилище отдыхало, но долго задерживаться здесь не хотелось. Как когда-то во время «киносеансов» в отсеке баронского склада — нравилось забежать и выбежать.

Как и положено в сельских банях, здесь тоже коптили мясо и затем оставляли на крюках, чтоб провялилось.

Отец куда-то уехал, баню в субботу не топили, в мясе надобности не возникло, и банька стояла на берегу пруда притихшая, в ожидании своего дня.

Где-то в середине недели мы хватились нашего кота — молодого, черно-

го, ловкого — мышей тут за год запустения развелось видимо-невидимо. — Сейчас у него пора такая, — сказала мать, — вернется. — И правда — что для такого проворы пара километров до соседнего дома? Вернется . . .

Приехал отец, и в субботу с большими охапками дров мы отправились топить баню. Когда открыли дверь, из баньки так и пахло аппетитным запахом копченого мяса, и тут же раздалось какое-то царапанье. Осмотрели предбанник — никого. Едва открыли вторую дверь, мимо нас, жалобно мяуча, протрусил . . . наш Минька! — взерошенный и усохший наполовину. Какой-то диковатый — наверное, боялся, как бы опять его не заперли на неделю.

— Как он тут оказался? — удивлялся отец. — Ведь я все осмотрел, перед тем как запереть. Наверное, мясной дух его приманил.

Минька (какое имя! — почти как Янка) больше недели пробыл без пищи и воды. Каково ему, коту, было — под потолком висят коричневые окорока и до них не добраться . . .

Трехкилометровый путь в школу пролегал через лес. Вырубка, чащоба, еще одна вырубка, откуда далеко в лес уходила ровная просека, потом молодой ельник, речушка, и снова смешанный лес до самой школы.

Разумеется, резиновые сапоги были единственным транспортным средством. Тридцать лет спустя мы попытались проехать по той лесной дороге, куда за эти годы было свалено столько щепня и шлака — едва выбрались из глинистой хляби.

Но в тот год маленький Марис проходил этот путь вприпрыжку, и никому — ни ему самому, ни родителям — и в голову не приходило менять школу, как это нередко делают теперь.

О! По дороге было столько интересного! Зимой зайцы выходили из лесу подбирать на санном пути оброненное сено, летом к картофельным полям кралась кабаны, красной стрелой проносилась лиса, а на лугу за баней проходила вальдшнепья тяга. Лишь сравнительно недавно, когда Янис Петерс переводил Евгения Евтушенко, я узнал, что вальдшнеп — это то же что бекас. А тяга — это когда бекас единственный раз за вечер поднимается в воздух для тихого, скользящего полета . . . О, для охотника охота на вальдшнепа — одно из самых больших испытаний. Однажды отец подстрелил эту краси-

вую птицу с длинным, похожим на карандаш, клювом, мне было и интересно и жалко одновременно. Все лето ворковали лесные голуби, а зимой край поля в изгибе леса был просто усыпан серыми куропатками.

Стояла чудесная ранняя весна, березы наливались соком, по утрам у дома надо было менять бидончик, до краев полный сладкой влаги. Но как-то ночью подморозило, и вырубку, через которую я ходил в школу, покрыл иней. Обычно мы любили пить с березовых пней, срез на которых был слегка покатым и на скосе щедро скапливался сок.

Очевидно, этот способ утолять жажду не был нашей привилегией, потому что...

Зайчонок не заметил нас, и это было просто удивительно, ведь всякий знает, как хрустит иней на подмерзшей земле. Хрустит, скрипит, позванивает — в такое хрустальное утро. Но зайчонок, очевидно привыкнув к своему лесному кафе, мордочкой пытался пробить тонкий ледок, покрывший сладкий сок на срезе пня. Когда же мордочкой не вышло, он пустил в ход свои передние лапки.

Куропаткам исчезнуть с облюбованной поляны помогли гербициды и лисы... На часе поэзии в одной из школ Курземе я попросил, чтобы подняли руки те, кто видел живую лису (только не в зоологическом саду) — поднялись две руки. Всего две.

Когда я учился в четвертом классе, туман у меня в глазах стал густеть, доктор в Кулдиге проверил мне зрение и сделал заключение: минус четыре. И выписал очки. Минус четыре — это не много и не мало, со временем я нажил и минус десять, но тогда это было большое событие — может быть, и еще кто-то в школе носил очки, но в нашем классе в очках я был один. Сколько я поразбивал их — этих очков, — и на бегу, и катаясь на лыжах, и заснув вечером с книжкой в руках, — тем самым доставляя родителям новые хлопоты (где же на селе взять очки?).

Чем глуше было место, где мы жили, тем больше меня тянуло читать. Я читал везде — за столом, подложив книжку под учебник, читал на улице, на сеновале, в школе во время урока и дома, забравшись под порог. чтобы меня не нашли и не отправили по какому-нибудь поручению, которых, особенно после рождения сестры, с каж-

дым днем становилось все больше. Читал все, что попадалось. «Как братец Кролик победил Льва», «Мятежная Рига», «За нами Москва», вперемишу с романами Уоллеса. Собрание сочинений Сельмы Лагерлеф я прочел потому, что у моего соседа оказалось собрание сочинений Сельмы Лагерлеф.

Школьные библиотеки в ту пору не изобиловали книгами, время от времени их еще и ревизовали, и часть книг выбрасывалась или сжигалась, поэтому приходилось довольствоваться тем, что наскребывал по книжным полкам соседей да по чердакам. Там чаще всего попадались газеты и журналы довоенного и военного времени, дети той поры не знали спецфондов.

И — то ли случайное совпадение, то ли перст судьбы — всегда по соседству оказывался какой-нибудь книголюб, какой-нибудь старичок любитель почитать, у которого были книги, утолявшие мой интерес, жажду знаний или любопытство.

Когда читает взрослый человек, ему нравится или не нравится, он соглашается или не соглашается, он читает с пользой для себя или тут же о прочитанном забывает.

В детстве то, о чем читаешь, — для тебя происходит на самом деле. Книга — такое же событие, только более живое, глубокое, более захватывающее... В детстве я мог точно показать болото, которое осушал Айвар Лидум (имя Айвар было тогда модным), а ту вырубку, где мой Пер Гюнт встретился с моим Пуговичником и сказал знаменитые слова, я и сегодня мог бы показать, если бы... вырубка не заросла густым зеленым ельником.

Так складывалась жизнь нашей семьи, что до пятого класса, пока мы не осели на более долгий срок на одном месте, я чуть ли не каждый год менял школу. Мне и в голову не приходит винить учителей или очень-то уж самого себя за уровень моих тогдашних знаний. Откуда там взяться знаниям, хоть я и был все школьные годы средним учеником (то есть никогда не выходил в круглые отличники, но и никогда — во всяком случае, в табеле — у меня не было больше двух троек).

Директором этой школы был мужичина, отец моего соседа по парте, но все предметы здесь находились в строгих, я бы даже сказал, властных руках типичных представительниц Курземе. Историю преподавала учительница по

фамилии Милта, две дочки еще держались за ее подол. Может быть, поэтому она была как-то доступнее, больше, правда, для девчонок, и когда после выпускного седьмого класса мы прощались, она, утешая, сказала, чтоб мы не слишком плакали: «У вас впереди еще не один класс, еще наплачетесь».

Когда преподавательница немецкого языка Миезе, подтягивая больную ногу, вставала перед классом и четко произносила свое «Guten Tag, meine Schüler!», все шалости тут же вылетали из головы, — начинался урок, и то был Урок.

Миезе была племянницей моего дальнего родственника Рудольфа Миезиса (о его судьбе я рассказал в поэме «Мать, я приду»). И когда я кое-что раскопал в кулдигском музее, я поспешил в свою старую школу — вдруг в альбомах Миезе отыщется какая-нибудь фотография. Но... я опоздал на две недели. Учительницу немецкого языка Миезе уже проводили на кладбище — *Schlafen Sie ruhig*, спасибо Вам.

Все, что я сегодня помню из правописания латышского языка, это заслуга преподавательницы Пуце. Пуце была и нашей классной руководительницей, детей у нее, как и у Миезе, не было, и меня до сих пор удивляет, как, держа нас на определенной дистанции, ей удавалось столь основательно проникнуть если не в наши проблемы, то уж в наши характеры определенно.

Вот характеристика на выпускника седьмого класса:

Родился в 1940 году, 16.6. В Лутриньскую семилетнюю школу поступил во второй четверти 1951/52 уч. года.

Творческие задания выполняет охотно и с интересом. Любит читать книги. Есть склонность к сочинению стихов. Выдающихся способностей по другим предметам не проявил.

Наблюдателен, хорошая память. Учится легко. Мог бы быть отличником, но зачастую относится к занятиям поверхностно. Рассеянный. Мыслительные способности развиты хорошо. Суждения самостоятельны. Мысли и суждения способен выражать логично, связано.

В общественной работе довольно пассивен. Любит критиковать других, но сам неохотно берется за какое-либо дело. Не любит физический труд.

С товарищами по классу ладит.

7 июня 1954 года.

Директор.
Классный руководитель.

Излишне, наверно, пояснять, что герой характеристики — я, четырнадцатилетний. Так как мой сосед по парте Андрис собирался поступать в Музыкальное училище имени Язепса Медыня в Риге, я тоже решил отправиться в столицу. Только вот зачем? Можно бы попытаться счастья в техникуме работников культуры, но там надо петь, а этого, как мне внушили с ранних лет, я не умел.

Явившись в Ригу, походил с документами у торгового техникума на улице Суворова и через два дня, измятый городской толкотней, усталый и скисший, вернулся домой и подал документы в Салдусскую среднюю школу.

Там характеристика не требовалась, так она у меня и осталась. Откуда учительница все это взяла — откровениями мы ей не надоедали, и она на них не провоцировала. Как я уже упоминал, она держала нас на доброй дистанции. Пуце (в переводе на русский — сова) — мудрая птица, учительница видела нас сквозь призму своего опыта.

Откуда она взяла эту «склонность к сочинению стихов»? Неужели и она узнала про печально известное приключение с нашим рукописным журналом? «Удар по башке» — так он назывался, мы написали два журнала и хранили их в недавно уложенной проточной трубе по дороге из школы к дому. «Удар» повлек за собой экзекуцию. Не физическую, разумеется, моральная экзекуция ожидала нас дома. Грубостей в журнале не было, но уж имена и фамилии там красовались, как говорится, черным по белому. Реакция наших родителей была естественной, ведь, друзья мои, на дворе был 1952 год.

В декабре, в день рождения Сталина, в школу привезли несколько бумажных мешков с леденцами. Для заворачивания были приготовлены ровные стопки квадратиков нарванных газет. Раздатчица делает ловкое движение — бумажка в левой руке, ложкой загребает в мешок — и на квадратике появляется пять-шесть прозрачных конфеток — тут вам и синяя, и зеленая, и красная.

Долгих лет жизни!

И был день, когда в коридоре сняли стенную газету, где торчали и мои стишки в духе а la Дреслера: «То ли озеро, то ль речка, там иль там стояла печка».

Вместо стенгазеты, по-весеннему яркой, появился всем знакомый портрет

с усами в черной рамке. Капало с крыш, пригревало солнце, гравийная дорожка вдоль школы совсем просохла, снег виднелся лишь под кустами и под большими деревьями парка. Кое-кто из учителей утирал слезы.

С расстояния времени хорошо видно, где и на каком этапе полнились закрома образности каждого из нас — у меня — в эти годы в этих лесах, излучинах и топях, переездах и атмосфере.

Особые отношения с родными местами я для себя определяю как ощущение места, с годами ощущение это становится сильнее. Мальчик с пальчик Бригадере покидает свой дом не только из-за злой мачехи или из легкомысленного желания увидеть чужие страны, он был нужен писательнице, чтобы оттенить силу тяги к родным местам, к людям, к родному языку, а она проявится при конфронтации, в сравнении, на изломе судьбы.

«Я буду петь о тебе, земля отцов» — единственное стихотворение поэтессы Тирзмалиете, сохранившееся в народной памяти. Его поют, не зная ни автора песни, ни чего-либо о нем. «Хорошо в заморских странах» — это строчка другого автора из единственной песни поэта Риетеклиса. «Много дивных там чудес — гор высоких, нив широких и невиданных цветов». Тяжеловато, архаично? Да, да. Но когда я возвращаюсь из дальних поездок, я не могу точнее выразить свои ощущения, чем это сделал Риетеклис: «Что мне все края чужие С их чужою красотой, Коль я здесь, у милл Гауи, Слышу свой язык родной!»

Язык — составная часть ощущения места. Бережное отношение народа к своему языку помогло уцелеть в нем не только сильным корням древнего санскрита, оно помогло уцелеть народным песням — посреди моря высеченным — из камня.

Я пытаюсь проникнуть за вал моего четырнадцатилетнего лета, но это мне не удастся. Я слышу негромкий, но глубокий грудной смех, слышу сдерживаемое дыхание, метроном сердца в полной и напряженной тишине, я впервые целую девушку, но сказать об этом что-либо большее мне не дано, Англия закрыта, ключ . . . Да, где же ключ?

Нет, ключ не сломан, ты нащупываешь его в кармане своего дерматинного пальтишки; лес за Кулдигой, тебе одиннадцать лет, и вместе со сво-

им троюродным братом ты месить родную глину по апрельской дороге в школу. Едва началась вторая половина столетия, города нет, кругом бедность, но мы этого не знаем, не с чем сравнивать — мы живем в первый раз. И здесь, только здесь.

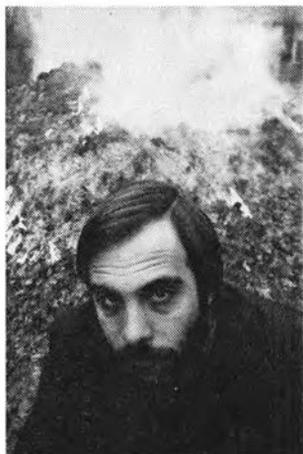
Вдруг мой троюродный брат оставливается в снежной каше, как вкопанный, среди самой слякоти, его взгляд цепенеет и рука что-то судорожно ищет в кармане френча. На берегу речушки, на взгорке, как раз поперек нашего пути стоит собака, собака волчьей породы. Только хвост у нее какой-то странный, не такой, как у собаки волчьей породы.

Собака все стоит, нет сомнения, что она нас видит, она видит именно нас, потому что больше здесь никого нет и не может быть в этот рассветный час. До дома километра полтора, до школы столько же. И тогда мой троюродный брат, ни слова не говоря, достает спички и пытается зажечь ветку посуше, но ничего не выходит: весна, все набухло и не горит. Тогда он начинает одну за другой зажигать спички и бросать в сторону взгорка.

Что брат курит, я давно догадался, это была для меня важная тайна, все ведь знают, как младший бережет тайну, доверенную ему старшим, так что молчание было гарантировано. Когда коробок уже почти пуст, волк (да, волк!) поворачивается к нам спиной и, поджав хвост, спокойно исчезает в чаще. А брат все бросает и бросает спички.

Поверил ли нам кто в школе, что мы встретились с волком, поверили ли дома, не знаю. Вряд ли. Живому верить редко. Может быть, этот волк пожалел нас просто так, а может, он просто был сыт? И все же, все же мне кажется, что те спички обладали чудодейственной силой.

Курить? Конечно, курить нехорошо. У меня даже есть стихотворение о мальчике, который курит, и «Ливы» в свое время оторали его на всю республику, так что мне этого липайского мальчонку, с которого я написал стихотворение, стало жалко. И все же хорошо, что у Андриса тогда оказались спички. В моем детстве были спички, которыегодились, которые спасли. Мальчишки, а вы спички захватили?



Николай ГУДАНЕЦ

Русский поэт и прозаик Николай ГУДАНЕЦ родился в Риге в 1957 г. В 1979 г. окончил филологический факультет Латвийского государственного университета им. П. Стучки. Публикуется с 1974 года. С 1986 г. — член Союза писателей.

Издан два сборника стихов: «Автобиография» (1980), «Голубинья книга» (1986) и сборник рассказов «Субботние поцелуи» (1984). В колактанных сборниках «Платиновый обруч» (1982), «Хрустальная медуза» (1985), «Пещера отражений» (1988) опубликовались фантастические рассказы Н. Гуданца. Переводил стихи латышских поэтов К. Крузы, Э. Вевериса, Я. Петерса, К. Эйсберга, И. Зандара.

ВЛАДЕЛЕЦ МИНУТ

ПОСЛАНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПИРА

Вальсингам, я сижу в громадной стране, где чума смешна, где слова с металлическим отблеском, как мышьяк, оседают бляшками в мозге, желудке, бронхах. Что-то здесь не так, если стала заразой речь, если может она давить, удушать и жечь, и, как вшу, вычесывать совесть стальной гребенкой.

Вальсингам, я повис в бессоннице, словно гроздь из напрасных мышц, омерзенья, немного буйства. Ночью ненависть, как хорек, выедает мозг, любовь несуразнее, чем хрустальный гвоздь, а надежда и вера плодят холуйство.

У любого — своя Колыма и своя чума. Вальсингам, я однажды просто сошел с ума, впрочем, здешняя жуть почище, чем в психбольнице. Что кому напоследок Парка приберегла — для кого-то пуля, а для меня игла, но всего страшней не химическая мгла — ежедневная, та, сквозь которую не пробиться.

Что-то здесь не так, если грезы свалились в жмых, если целый народ поголовно тошнит от них, если неть спасения в древнем лекарстве смеха. Вальсингам, от рождения честно мотая срок, я дошел до ручки. Правду сказал пророк: суета сует, но все-таки надо ехать.

Сколько б ни было стран на глобусе, ни в одной не бывает больно так, как в своей родной — безалаберной, нищей, жуткой, любимой, скверной. По стаканам разверстано. Поезд дает гудок. Вальсингам, наша кровь так долго была водой, что бессмысленно резать вены.

ПОСЛАНИЕ К СВОЕМУ ВЕКУ

Этот век спортивный, в беге своем наивный,
пахнет зверством и дымом, словно Книга Навина,
и, похоже, замкнулся древних пророчеств круг.
Удивится век, если только, сойдя с орбиты,
поляхнет планета в бешеном суициде.

Одолжите веку нероновский изумруд —
он увидит пепел, пепел и снова пепел,
за которым солнце выдохлось и ослепло,
к ядовитой земле примерзает сухая плоть,
сумасшедшие траки давят спасшихся чудом,
балахонные тени спуют по бетонным грудам,
и стоглазый робот нацеливает лучемет.

Уцелеет ли горсть служивых на субмарине?
Уцелеет строка, оттиснутая на глине,
и разумный моллюск однажды ее прочтет?
Я не верю тебе, нетопырь, недоумок, дьявол.
Мой распятый век, на кого ты себя оставил,
на кого молился, не верящий ни во что?

Я не верю, что догма стоит хоть капли крови,
не могу понять, почему то усы, то брови
по какому-то дикому праву застыт мир,
умыкают страны, радио, книги, разум,
залезают в душу своим вертухайским глазом
и беспечно пируют во время чумы.

Я не верю, что путь к блаженству мостят костями,
что савонаролы — истинные христиане,
что доктрину можно спасти, кого-то предав.
Этот век великих изгнаний великих духом,
я кладу свою ненависть к твоему изножью,
ведь из белых гвельфов памятен только Дант.

Этот век, с которым вскоре простятся люди,
если будет кому, если люди на свете будут,
загустеет, свернется, впитается в ткань времен.
Несмыаемый век, припорошенный бледной ложью,
я кладу свою ненависть к твоему изножью,
безнадежно твоим безумием заражен.

БАЛЛАДА ГАРАЖА

С полуночи хлестала дрожь
наохлившийся клен,
и был черней, чем страх и ложь,
отвесно падающий дождь
во мраке за окном.

И было вовсе из окна
не видно, что вокруг — страна,
огромная, как дождь.
И где какая сторона —
в дожде не разберешь.

Ты вслушивался, сам не свой,
дождем заворожен,
как будто, выше этажом,
подковками конвой,
железный ливень грохотал
над самой головой,
и ты никак не понимал,
что это — за тобой.

А после — звуковой провал
и пауза в дожде,
как будто ты уже стоял
в подвальном гараже,
и кто-то позади взводил
изогнутый курок,
и кто-то строчку выводил
среди бесчисленных строк . . .

Была все так же тишь и темь
кирпичная — крепка.
А в караулке между тем
играли в дурака,
шумела грозовая хлябь,
неистовствовал гром,
и, ожидая смены, зяб
солдатик под грибком,
жалея втайне, что нельзя
согреться табачком.

Вокруг — на сотни верст одна
глухая пелена,
дождя волнистая стена,
не видно ни рожна,
такая странная страна,
такие времена.

А дождь как будто шелестел
страницами архивных дел.
Ты эту ночь пересидел,
как все, в своем углу,
и после — дождь хлестал и лил,
но до сих пор еще не смыл
удушливую мглу
ализариновых чернил
и брызги на полу.

Идут на смену времена,
и ночь почти что не видна
в подробностях уже,
и общих списков имена,
и кровь, и общая вина —
теряются в дожде.

Видны лишь мутный небосклон
и потускневший клен,
который к месту пригвожден
и жить приговорен.

1983

УТРЕННИЕ СТРОФЫ КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЫ

Мне в стотысячный раз надоели слова
и в стотысячный раз одолели, едва
я поднялся с постели.
В растворенном окне чугунеет листва,
отсыпающаяся за неделю.

Кто развесил на ощупь листву за окном
и воздвиг этот дом, обреченный на слом,
и согнул мне как обод хребет над столом
для свидетельства мощи и славы,
тот продел меня в труд и покинул меня
на подходе сырого просторного дня,
на окраине сверхдержавы.

Я, владелец рассветных воскресных минут,
не могу осознать, оказавшийся тут,
в человеческом яростном детстве,
что иные народы язык мой сотрут,
как шумерский и хеттский.

Спит квартира. Душа разбухает в груди.
Я не вынес бы этой натуги один,
ибо подвиг равняется вздоху —
то ли в гуще корней вызревает азот,
то ли полюс магнитный, как муха, ползет,
по шажку за эпоху.

Так бывает, когда растворяется быт,
становясь отдаленнее, чем неолит,
и тяжел, словно дрейф тектонических плит,
поединок предчувствий и знаков.
В клинч войти, продержаться, громаду качнуть,
непосильно, бессмысленно, все же чуть-чуть.
Так боролся Иаков.

Свет меня огибает по рваной дуге,
папироса погасла, присохла к губе,
холодильник заходится в тряске,
и никак лихорадку не смелют в слова
полушария, грузные как жернова.
В коммунальном окошке недвижна листва,
современница критских династий.

Кто продел меня дратвой в одышливый труд,
не давая поблажки, неистов и крут,
и за глотку берет, как невидимый спрут,
без различия дня или ночи,
тот меня, словно рупор, подносит к губам,
и невнятно вопит, и бросает, а там —
разбирайся, как хочешь.

За окошком листва. На дворе голоцен.
Кровь застыла в мозгу, как трамвай на кольце,
и сцепляются намертво звенья,
безвоздушную речь не по мерке надев,
прорастая сквозь плоть, возникая нигде,
разбегаясь по времени, как по воде,
чтобы рухнуть в забвенья.

Дзинтра ХИРША

ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК В ЛАТВИИ

Языковая проблема — часть «сеоб-щих проблем, встающих перед лицом перестройки.

Сегодня особенно актуален вопрос о латышском языке в Латвии. Поэтому цель данной статьи — объективно проанализировать, уточнить теперешнее состояние латышского языка, учитывая новейшие выводы социолингвистики.

Русский язык стал языком межнационального общения в СССР не в результате свободного выбора, а по простой необходимости людям разных национальностей нашей страны понять друг друга.

Русский язык находится как бы в центре Союза. Из этого следует его межнациональный или межреспубликанский статус. Большинство людей разных национальностей наряду со своим родным языком знают также русский язык. Есть люди, которые одинаково хорошо знают оба языка (родной и русский), и есть люди, которые знают один язык лучше, другой — хуже. В таком случае мы вправе говорить соответственно о полном билингвизме (или двуязычии) и частичном билингвизме. Такое явление, как двуязычие, в жизни общества имеет не только положительные, но и отрицательные последствия. До сих пор в печати и в советской научной литературе (за некоторыми исключениями — М. Хинт, Ю. Вийкберг, Л. Иванов) подчеркивалось главным образом положительное, поэтому здесь целесообразно обратить внимание на отрицательные стороны этого явления и те последствия, которые в известных условиях могут быть для национальных языков даже губительными. К та-

кому выводу в известной мере можно прийти, учитывая хотя бы толкование билингвизма в лингвистическом словаре Ларуса, где сказано, что «двуязычие — движение, которое стремится владение одним иностранным языком с помощью официальных мероприятий и путем обучения сделать общим. В данном случае двуязычие — это политическое движение, основанное на идеологии, согласно которой изучение иностранного языка в установленных условиях позволяет дать соответствующим лицам новый образ мышления и поведения, а тем самым ликвидировать национальную оппозицию и войны».

Билингвизм представляет в первую очередь индивидуальное явление, но на переломных этапах развития общества, в результате завоеваний и обширных миграционных процессов он может превратиться в коллективное явление, порождая в обществе языковые, психологические и социальные проблемы. Коллективный билингвизм особенно опасен для языка национального меньшинства, ибо он более подвержен деформации, чем язык национального большинства. Психологическое и социальное давление чужого языка практически способствует несовершенному владению родным языком. В результате регулярного неравенства (идеологического и практического характера) языков возникают различные негативные явления, связанные с употреблением языка.

О таких последствиях двуязычия в обществе и в национальных языках в лингвистической литературе говорится уже по крайней мере с 1922 года, но

здесь целесообразно обратить внимание на новейшие доводы в исследовании билингвизма, которые обобщили (со ссылками на авторов) и дополнили Ю. Вейкберг и М. Раннут в своей работе «Исторический аспект статуса языка» (Таллин, 1988) (некоторые их высказывания использовались и выше). Речь идет об отрицательных явлениях, вызванных так называемой ситуацией коллективного билингвизма. Они следующие: 1) у билингвов* по сравнению с монолингвами часто отмечается отставание в духовном развитии (Jespersen, 1922); 2) монолингвы в среднем более интеллигентны (Saer, 1923, Darcy, 1946, Jones, Stewart, 1951); 3) билингвы в своем развитии отстают от монолингвов на 2,7 года (Kelley, 1936); 4) у таких учащихся начальной школы отмечено отставание на 11 месяцев (Macnamara, 1966); 5) билингвов характеризует также более ограниченный словарный запас и не всегда верное употребление грамматических структур, часто необычный порядок слов в предложении, морфологические ошибки и паузы в речи (Grosjean, 1982); 6) связь билингвизма с заиканием и затруднениями при абстрактном мышлении показал Л. Иванов (Ivanov, 1986); 7) торможение языкового творчества, мыслительной и волевой функций при билингвизме отмечал Н. Хансегор (Hanségård, 1968); 8) как отрицательные черты можно назвать отсутствие интереса и инициативы, а также сложности при адаптации в новой среде. Лучше же билингвам дается изучение иностранных языков.

Однако эти отрицательные явления не следует абсолютизировать. Их можно избежать, если приступить к изучению чужого языка после освоения родного (в возрасте 8—10 лет, когда уже налицо умение читать и писать (Skutnabb — Kangas, Toukoma, 1976)). Из этого следует, что немедленно надо было бы ликвидировать экспериментальные детские сады, где в интересах якобы развития интернационализма и двуязычия детей воспитывают на двух языках. В средней школе, в свою очередь, желательно изучать сразу несколько языков, чтобы ребен-

нок рос воистину глубоко образованным, владеющим несколькими иностранными языками, гражданином, а не только билингвом.

Любое общество старается избавиться от двуязычия, чтобы добиться возможно большего внутреннего единства. Поэтому двуязычную ситуацию пытаются регулировать с помощью юридических средств, исходя из персонального или территориального принципа. Согласно персональному принципу каждый гражданину должен знать все государственные языки, и в стране можно общаться на этих языках, например в Финляндии, Канаде. Однако самым распространенным является территориальный принцип, а именно, когда государство разделено на регионы, в которых разговаривают на каком-нибудь одном языке, как в Чехословакии, Югославии, Швейцарии. Территориальный принцип в двуязычии позволяет сохранить национальный идентитет, язык меньшинства, и уберечь его от влияния языка больших национальных групп. В случае выбора языка, как в Латвии, «билингвизм в группе меньшинства обычно равен ассимиляции этой группы» (Grosjean, 1982). В мировой политике имеется совсем немного примеров, свидетельствующих о реальной поддержке государством национального меньшинства. Целью его политики является создание единого государства с единым языком. Для достижения этой цели в некоторых странах запрещается язык национального меньшинства, высылают разговаривающих на нем или завозят в соответствующий регион, например в Латвию, тех, кто пользуется языком национального большинства. Еще один пример: в Южном Тироле, который в 1919 году был итализирован путем ввоза рабочей силы, итальянцы составляют теперь три четверти населения. В результате возникает лингвистическая ситуация — диглоссия: а именно, один язык в обществе имеет более высокий статус, чем другой.

Диглоссия образует один из периодов более длительного процесса — отмирание языка, в результате которого наступает смерть языка национального меньшинства.

Некоторые лингвисты отмирание языка сводят к трем этапам, другие (в том числе и эстонские) — к четырем. Тем не менее остановимся на трех-этапном отмирании. Первый этап

* Во избежание недоразумений следует сделать следующую оговорку: билингвами называют людей, у которых два родных языка, то есть тех, которые усвоили в раннем детстве два языка одновременно. (Ред.)

связан с первым периодом двуязычия, когда во время больших исторических перемен и переломов — в результате последующей широкой миграции и идеологического давления, лексических наступлений — возникает диглоссия. Это явление сопровождается также фонетической деформацией национального языка. Национальный язык лишается статуса государственного языка (в дипломатии, управлении, армии). И хотя число разговаривающих на этом языке больше, второй язык, а именно иностранный, лишая национальный язык некоторых присутствующих официальному языку функций, фактически превращает его в язык меньшинства. Национальный язык может еще возродиться, если принять соответствующие юридические меры.

Следующий этап отмирания языка начинается, когда наступает второй период двуязычия — отмирающий язык постепенно теряет остальные сферы применения — в делопроизводстве, в сфере бытового обслуживания, науке, до тех пор, пока на родном языке не разговаривают уже и в семье. Когда теряются функции языка, падает и его престиж, появляется так называемый *selfhatred*, или национальный нигилизм, то есть разговаривающие на национальном языке испытывают неприязнь к своему языку, народу, культуре и т. д. Наблюдается, что женщины легче отказываются от родного языка, чем мужчины. Носители родного языка превращаются в численное меньшинство у себя на родине. Такому положению языка способствуют проводимая государством политика централизации и стандартизации.

Наряду с дегенерацией национально-го языка исчезает историческая и культурная память народа. Этнос (народ + культура = нация) превращается в демос (народ + земля = население).

Последний этап — отмирание языка в результате двуязычия, когда он сохраняется главным образом только в топонимах. Язык почти полностью отмирает в течение трех поколений.

Только не надо делать поспешных выводов, что, может быть, и нормальное двуязычие вредно. Знание второго (многих) языка каждому может принести только радость познания другого мира, других людей. Но ясно и то, что изучение чужих языков не должно

осуществляться за счет родного языка. Ведь часто «получается, что в условиях распространения двуязычия так, как оно понимается сейчас, человек овладевает обоими языками — родным и русским, но культурные мотивации там и там отсутствуют. За языком не стоит культура» (А. Хузангай — «Дружба народов», 1988, № 6, с. 261). А это самое главное в изучении языков — культура, заинтересованность и никакого насилия.

Как известно, партия на словах никогда не отказывалась от принципов ленинской национальной политики. Однако вспомним статью В. И. Ленина «Слова и дела», где он пишет: «У нас постоянно делают ту ошибку, что оценивают лозунги, тактику известной партии или группы, ее направление вообще, по намерениям или мотивам, которые сама эта группа выдвигает. Такая оценка никуда не годится...

Дело не в намерениях, не в мотивах, а в той объективной, от них независимой, обстановке, которая определяет судьбу и значение лозунгов, тактики или вообще направления данной партии или группы» (Собр. соч., т. 19, с. 232).

Какова же эта обстановка в Латвии? С 1940 года в истории латышского языка наступил новый этап:

1) латышский язык был лишен статуса государственного языка (правда, в 1959 году, по данным В. Круминьша, Президиумом Верховного Совета СССР этот статус латышского языка был принят, но в жизнь не внедрен, а в Конституции ЛССР не упомянут);

2) усилилась диглоссия, а именно: латышский язык становится языком меньшинства;

3) возросла миграция, очевидно покаемая правительством, так как за первое полугодие 1988 года число мигрантов достигло численности всего 1987 года (Э. Вейдемане — «Падомье яунатне», 25 авг. 1988 г.);

4) латышский язык постепенно утратил возможность функционировать во многих сферах существования и деятельности общества (см. выводы Р. Вейдемане как эксперта на пленуме правления Союза писателей — «Литература ун максла», 1 июля 1988 г.).

Этому способствует нежелание русскоязычного населения Латвии учить латышский язык даже в тех случаях, когда они этот язык могли бы знать, — в сфере обслуживания, в ведущем

партийном аппарате, в медицинских учреждениях и т. д., везде, где происходит соприкосновение с латышским населением; в случаях медицинской практики незнание языка приводит к плачевным последствиям (по письмам в адрес комиссии по статусу языка);

5) расширяется процесс национального нигилизма;

6) искусственно уничтожены многие древние ремесла, например латышское мореходство. Тем самым латышский язык утратил целые слои профессиональной лексики (между прочим, латыш К. Валдемарс был отцом российского мореходства);

7) государство усиленно проводит централизацию и стандартизацию. В связи с этим упомяну особенно болезненные факты: а) призывники в армию не имеют возможности выбрать язык общения; б) в документах латышей указываются отчества с русскими суффиксами — овна, ович и т. д., вообще неприусские латышскому языку (также тюркским, финно-угорским, енисейским, балтийским и другим языкам СССР). Мы не называем же премьера Индии Индиру Ганди Индирой Джавахарлаловой. По-моему, это неуважение к нерусским народам СССР; в) централизованное присуждение научных степеней приводит к отмиранию латышской научной терминологии, тормозит развитие латышской науки, к тому же морально унижает латышей, так как их язык все же один из самых древних и самых богатых языков индоевропейских народов, древнее русского. Тем самым игнорируется статус республики;

8) слишком часто нарушаются нормы ленинской национальной политики как в средних, так и в высших слоях партии, а также в правительстве: а) многие постановления правительства Латвии издаются только на русском языке, например программа, как и постановление Совета Министров о строительстве библиотеки вышли на латышском языке. За многие годы в архитектуре нашей республики такое случается впервые, и следует признаться, не легко было высказаться по-латышски. Многие архитектурные термины и обозначения мы знаем только на русском языке («Падомью яунатне», 18 июня 1988 г.); б) постановления Верховного суда ЛССР, касающиеся жителей латышской национальности, выносятся на русском языке, сравни,

например, справку о том, что дело против отца О. Медниса прекращено в 1965 г. («Литература ун максла», 10 июня 1988 г.); в) по-латышски разговаривают даже не все члены правительства Латвийской ССР и ЦК партии; вспомним пресс-конференции с руководителями партии и правительства, когда на вопросы, которые были заданы по-латышски, отвечали по-русски. (Является ли это проявлением уважения и тактичности к латышам? И те же люди учат нас интернационализму, призывают нас, латышей, быть тактичными по отношению к другим народам! И потом, можете ли вы представить себе, чтобы в правительстве СССР было несколько человек, не понимающих по-русски. Как же такое может быть в правительстве и ЦК суверенной республики?);

9) последствия двуязычия: 80 процентов жителей Латвии — латыши — пользуются двумя языками (к тому же они живут на своей родине и могут не знать русский), 25 процентов нелатышей пользуются двумя языками, 25 процентов нелатышей не знают латышского языка, 50 процентов нелатышей пользуются латышским языком частично («Литература ун максла», 1 июля 1988 г.) Здесь хочется напомнить слова товарища А. Яковлева, члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС, на встрече с работниками производственного объединения «Страуме». На предложение дублировать газеты он ответил: «Дело, наверное, не в дублировании. А в том, чтобы все, кто живёт и работает в республике, знали оба языка. Тогда и острота многих проблем снимается... И могу утверждать, что без знания языка выполнять свои обязанности можно лишь чисто механически, а не творчески. Жить в республике десятилетиями и не проявлять интереса к языку ее народа — этого я не понимаю. Тем более у большинства людей ситуация выигрышная: есть возможность овладеть им в языковой среде каждодневного трудового общения. Думаю, надо серьезно поощрять изучение языка. Никто не требует, чтобы русский прекрасно говорил на латышском языке, а латыш — на русском. Не в этом дело. Главное, чтобы между ними не возникало барьера недопонимания чисто языкового характера» («Советская Латвия», 13 августа 1988 г.);

10) латышский народ стал меньшинством на своей этноисторической территории.

Этот перечень можно было бы продолжить. Однако вывод однозначен: в настоящее время наблюдаются первые признаки второго этапа отмирания латышского языка. Поэтому для его возрождения совершенно необходимо признать латышский язык государственным языком на территории Латвии (в некоторых республиках СССР этот принцип уже реализован).

Советские работники, говоря о проблеме статуса государственного языка, обычно делают ссылку на Ленина, который был против присуждения статуса государственного какому-нибудь языку. Однако следует помнить, что Ленин свои труды о национальном вопросе писал с 1914 по 1922 год, то есть в период ломки капиталистического строя, когда в массах и среди большинства членов партии царило мнение (против которого он неустанно боролся) о русском языке как государственном языке России, как при царизме. В том-то и заключается гуманность ленинской национальной политики, что он отверг «революционную русификацию» и уже тогда понял, что национальные языки должны быть равноправными с русским и их судьбы должны решать сами «националы». Поэтому образцом для языковой политики новой России Ленин считал Швейцарию, где имеются три государственных языка. Это является уже упомянутым территориальным принципом сохранения национального языка, а именно: в РСФСР главным языком должен быть русский, в Латвии — латышский, в Эстонии — эстонский, в Киргизии — киргизский и т. д. Учитывая это и то, чтобы в Латвии не возник тирольский вариант «двуязычия», латышский язык надо защитить законом.

Это объективная реальность. Субъективная реальность связана с политическими силами в государстве. Учитывая желание нашего правитель-

ства сделать что-то для повышения престижа латышского языка, о чем свидетельствует «решение разработать детализированный кодекс правил об обязательном использовании латышского языка в делопроизводстве и сфере обслуживания», следует, однако, подчеркнуть, что частичными юридическими мерами, как это задумано, ограничиться нельзя, ибо это только затянет, а не устранил отмирание языка. Латышскому языку следует функционировать на своей родине во всех сферах употребления языка, поэтому придание латышскому языку статуса государственного явилось первым необходимым законодательным актом на пути к его сохранению и обогащению.

В то же время руководство республиками в целях защиты суверенных прав латышского языка должно добиться:

1) возможности присуждать ученой степени за написанные по-латышски исследования;

2) воспроизводства отчества людей латышской национальности в документах на русском языке без суффиксов русского языка (как это хоть и не совсем последовательно делается уже в Литве);

3) во имя равноправия языков надо предоставить возможность находящимся в армии представителям латышской национальности служить в отдельных войсковых частях, как это было до пятидесятих годов, или же только на территории республики.

Эти требования некоторым могут показаться слишком категоричными, однако еще раз напомним, что латышский язык и народ попали на своей земле в катастрофическую ситуацию, в какой не находится ни один другой народ Советского Союза (кроме еще Эстонии). Поэтому долг политических и хозяйственных руководителей Латвии первыми в нашей стране взять на себя полную ответственность за латышский язык и безотлагательно принять радикальные и последовательные меры.

О БИЛИНГВИЗМЕ В КУЛЬТУРЕ

К СТАТЬЕ ДЗИНТРЫ ХИРШИ

Мне кажется, что ряд положений статьи нуждается в прояснении. Так, автор ссылается на исследования, отстаивающие точку зрения, в соответствии с которой билингвизм имеет отрицательные последствия. Для того чтобы доказать это, необходимо, во-первых, исследовать все или по крайней мере большинство сочетаний языков мира. Может быть, окажется, что при одном сочетании имеют место одни последствия, при другом — другие. Необходимо, во-вторых, учитывать социальные и психологические различия. Может оказаться, что, например, меланхоликам билингвизм вреден, а флегматикам, напротив, полезен. В-третьих, понимание того, что такое «отрицательные», а что такое «положительные» последствия, будет варьироваться опять-таки в зависимости от социально-психологических характеристик [5]. Для какой-то социальной группы, вероятно, «отрицательными последствиями» будет сопровождаться получение человеком высшего образования, так как средний интеллигент в СССР зарабатывает гораздо меньше среднего пролетария.

Но даже если предположить, что билингвизм действительно вреден, то это не отменяет того, что в иных ситуациях он неизбежен и даже необходим. Предположим, что ребенок растет в семье, где мать говорит на одном языке, а отец на другом. В этой ситуации билингвизм — естественное и закономерное следствие нормального воспитания ребенка. Иначе язык матери станет для него родным, а язык отца иностранным, или наоборот.

У билингва во всяком случае меньше шансов стать националистом. Нужно исходить из того, как реально сложились обстоятельства, а не из того, что должно в некоторой абстрактной социальной среде.

А исходя из того, что собой представляет человеческая культура, можно прийти только к одному выводу: билингвизм в культуре неизбежен. Человек рождается от двух родителей, воспринимает мир двумя глазами, уша-

ми, ноздрями и руками, ходит на двух ногах и, главное, мозг его состоит из двух полушарий, функционально асимметричных. Отсюда принципиальный **бинаризм** как одна из наиболее универсальных характеристик культуры [1].

Всякое знание ограничено и неполно. Любая, кажущаяся абсолютно достоверной теория может быть опровергнута, и именно в этом состоит ее оригинальность (ср. концепцию фальсификационизма [4]), так как труднее всего опровергнуть пошлость и трюизм.

Неполнота знания компенсируется его стереоскопичностью (Ю. М. Лотман [2]), то есть как минимум двумя языками описания. Поэтому любая культура всегда **стремится** к билингвизму. Любая национальная культура пользуется двумя языками, один из которых выполняет бытовую функцию, а другой — культурную функцию [3]. В средневековой Европе культурную функцию выполняла латынь, в допетровской России — церковнославянский язык, в послепетровской — французский.

Автор статьи требует осуществления возможности присудить ученую степень за диссертации, написанные по-латышски. Требование вполне законное. Но дело в том, что если все диссертации будут защищаться в республиках на национальных языках, это создаст непреодолимые барьеры в научных коммуникациях. Ученый из Грузии не сможет прочитать диссертацию эстонца. В средние века диссертации защищались на латыни. Это был один общий язык культурного общения, который априори должны были знать все ученые. Я думаю, что гораздо плодотворнее было бы в качестве обязательного языка для диссертаций взять — английский, потому что сейчас этот язык практически необходим для любого ученого в любой дисциплине.

Вообще, прежде чем что-то принимать, необходимо подумать о последствиях. Язык — в определенном смысле часть экологической среды, вмешательство в которую крайне опасно (вспомним историю о воробьях и китайцах).

Само по себе придание языку статуса государственного ничего не изменит, как это и не изменило ничего в Азербайджане и Армении. Необходимо разрабатывать конкретные методы. Одними лозунгами и юридическими жестами вряд ли можно добиться реальных изменений.

Можно объявить Горбачева папой римским, но это не значит, что в Ватикане сразу начнется перестройка.

Совершенно бесперспективны рассуждения о том, что один язык древнее или богаче другого. Возраст языка (речь идет, разумеется, о дописьменном периоде) реконструируется по косвенным данным весьма приблизительно. Что такое богатство языка, никто не знает, да вряд ли нужна вообще эта дефиниция. В эстонском языке 14 падежей, гораздо больше, чем в любом индоевропейском языке. По логике автора статьи, это должно стать предметом национальной гордости.

Чтобы спасти язык, нужно интенсивно развивать культуру, а не прибегать к юридическим мерам. Конечно, можно создать своеобразный языковой заповедник, но вряд ли это пойдет на пользу культуре, ибо культура это прежде всего диалог, диалог с другой культурой. И в этом диалоге необходимо прежде всего находить общий язык.

1. Иванов В. В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. — М.: Сов. радио, 1978.

2. Лотман Ю. М. Феномен культуры. — Ученые записки Тартуского университета, вып. 463. Труды по знаковым системам, т. 10, 1978, с. 3—17.

3. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века). — Там же, вып. 414. Труды по русской и славянской филологии, т. 28, 1977, с. 3—36.

4. Поппер К. Логика и рост научного знания. — М.: Прогресс, 1983.

5. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. — Oxford, 1967.

ОТ РЕДАКЦИИ

Верховный Совет Латвийской ССР 6 октября 1988 года принял постановление о статусе латышского языка. В нем латышский язык на территории ЛССР признан государственным. Постановление предусматривает всестороннее развитие и изучение латышского языка, гарантию его применения в государственных организациях и предприятиях, в учреждениях в сферах образования, науки, техники, культуры, службы быта и других сферах, а их делопроизводства. Гражданам при их обращении в государственные органы, учреждения и организации обеспечивается оформление документов по выбору граждан на латышском или русском языке. Для федеративных отношений используется русский язык. Заканчивает работу комиссия Верховного Совета ЛССР, подготавливавшая проект закона Латвийской ССР о языках, который будет передан на обсуждение народу.

Журналистское расследование

Вадим ШЕРШОВ

ЭХО ТРАГЕДИИ

Лесной массив в окрестностях Минска, именуемый Курапатамн, стал в 1937—1941 гг. местом массовых расстрелов. Об этом преступлении сталинизма читатель узнал из публикации в «Даугаве» (1988, № 9). Наш специальный корреспондент продолжает свой рассказ о народной трагедии, о следствии, которое должно было завершиться в конце минувшего года.

ПРАВДУ, ТОЛЬКО ПРАВДУ!

Минск, 15 октября, 19.55. Дежурный диспетчер Белорусской энергосистемы отметил резкое увеличение потребления электроэнергии. Не удивился: в городах и селах республики дополнительно включились десятки тысяч телевизоров. Началась передача о курапатской бойне...

Ведущий передачи подытожил: людям нужна правда, только правда о трагедии, разыгравшейся здесь полвека назад. А у меня все не выходило из памяти более чем грустное лицо Бролиша... Я понимал причину такого настроения руководителя следственной группы, ведущей «курапатское дело»: следствие явно зашло в тупик. Кто жертвы? На основании чего расстреляны? Положительных ответов не было...

Минск, 10 октября, 11.40. Кабинет первого заместителя прокурора БССР В. Кондратьева. Только что Бролиш представил меня Владимиру Кондратьевичу. Подаю официальную просьбу редакции допустить корреспондента «Даугавы» к материалам следствия.

— Журнал «Даугава»? А зачем вам все это — Минск, Курапаты?..

— Общепонятная трагедия... Об этом говорят хотя бы публикации в центральной прессе. Опять же — Латвия и Белоруссия принадлежат одному, исторически давно сложившемуся региону. Есть и свидетельства «латышского следа» в курапатской трагедии... В конце концов наши подписчики в Белоруссии вправе знать все об этом из первых рук.

— Вы в журнале выдвигаете версию о том, что латышей чуть ли не эшелонами привозили для расстрела в Курапатах.

— Ничего подобного! Откуда такие сведения?

Ответа нет. Вместо него просьба прислать экземпляр журнала с публикацией о Курапатах. Оказывается, Кондратьев его и в глаза не видел! И тем не менее:

— Я не могу решить вопрос о допуске вас к материалам следствия.

Владимир Кондратьевич направляется в кабинет прокурора республики. Мы с Бролишем ожидаем. Ожидание затягивается на полчаса. Наконец Кондратьев возвращается...

— Мы решили: будет лучше, если вы подождете окончания следствия, когда все станет ясно. Сейчас преждевременно выступать с публикациями.

Пытаюсь объяснить, что меня интересуют результаты закончившейся судебно-медицинской и криминалистической экспертизы, которые уже частично обнародованы в белорусской прессе. Их должен знать и наш читатель. Кондратьев неумолим. Впрочем, его ли вина? Судя по всему, есть указание «свыше»...

10 октября, 12.55. Приемная проку-

рора БССР Г. Тарнавского. Выходит последний посетитель. Вслед за ним — Георгий Степанович. Секретарша пытается представить меня.

— Кто вы такой?

— Журналист из Риги, которого вы не допустили к материалам судебно-медицинской и криминалистической экспертизы по курапатскому делу.

— У нас нет этих материалов.

— ?!? Простите, но вот публикация в газете «Звезда», где приводятся данные из этих документов, и ссылка на прокуратуру республики.

— У нас нет этих материалов!

— Откуда же их взял автор статьи?

— У него и спрашивайте!

Мне спрашивать не надо: уже знаю, что автора допустили к документам следствия официально, что его в Минске в данный момент нет. Нечего мне больше спрашивать и у Георгия Степановича, который, кстати, является заместителем председателя правительственной комиссии, созданной в республике для расследования гибели людей в Курапатах. Комиссии, призванной сообщать правду, только правду...

Из заключения комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы:

«Экспертиза установила: представленные на исследование останки из шести захоронений принадлежат не менее чем 319 человекам. Данные, полученные при исследовании костей, пригодных для восстановления пола, роста и возраста людей, дали основания для следующих выводов опытных и искусственных специалистов:

— останков костей личностей мужского пола — 114; женского — 21. Возраст — от 20 до 60 лет. Большинство похороненных — 62 человека — были в возрасте от 40 до 49 лет;

— в 192 случаях из 218 исследованных выстрелы были сделаны в затылок, в 26 — в висок. В 184 черепах по одному входному огнестрельному отверстию, в 29 — по два, в пяти черепах — по три».

Знакомясь с ходом следствия, я понял, что получил от ворот поворот не только потому, что публикация в «Даугаве» кому-то пришлась не по душе — это пережить можно. Сказалось нежелание привлечь внимание общественности к тому, куда медленно, но верно подошло следствие — к тупику.

Мои сомнения подтвердила встреча с Бролишем. Он, несомненно профессионал высокого уровня, ясно понимающий, какая гражданская ответ-



На митинге.

Фото Виктора Жука

ственность выпала ему, близко к сердцу воспринял народную трагедию, разыгравшуюся в предвоенные годы под Минском. И он не мог скрыть своей обоснованной тревоги за результаты следствия.

— Основной вопрос по делу может решиться только при условии получения данных об этой трагедии из архивов. Без них мы не можем решить вопрос по существу, узнать — кого расстреливали, за что расстреливали, на основании чего расстреливали.

Мы чувствуем ответственность перед обществом, отсюда — неудовлетворенность. Пресса же писала о Курапатах так, будто больших проблем у следствия нет и вскоре все завершится успешно, все будет ясно. Если бы так...

Я был признателен Язепу Язеповичу за горькое откровение и пожалел о том, что журнал не газета и слова следователя увидят свет лишь после того, как все закончится. Почему все неумолимо катится к грустному финалу?

В поисках ответа на этот вопрос я решил побывать в Министерстве внутренних дел республики — ведомстве, которое, как и КГБ, могло бы помочь следствию документами, хранящимися в его архивах. Как известно, от МВД группа Бролиша пока ничего не получила.

Первый заместитель министра МВД Белоруссии генерал-майор милиции В. Ковалев, не в пример руководству прокуратуры республики, встретил меня гостеприимно, но все же не удержался от знакомого мне вопроса — зачем, мол, журналистам из Латвии нужно это курапатское дело? Не знаю, удовлетворил ли его мой ответ, но интересно он все же дал.

— Вы первый журналист, который обращается к нам по этому вопросу, хотя о Курапатах писали многие. Вот и «Известия» обратились ко всем: помогите следствию, отзовитесь. Ни одного обращения к нам в МВД не было. Хотя почта нами изучалась досконально, внимательно. Не обращались ни родственники репрессированных, ни сами репрессированные. Поиски велись нами, будут продолжаться. Но работа с архивом дело сложное, требующее времени. Есть свои сложности: некоторые довоенные архивы частично утрачены, другие были сожжены в начале войны.

В нашем архиве имеется часть документов, 1937 года, дел «уголовных» преступников. Они, что интересно, также рассматривались «тройкой». Точное место исполнения приговора не указывалось, только — название города. Кто участвовал в расстрелах? Куда направляли людей? Ответа нет. Пересмотрели тысячи страниц в архивах — нигде не фигурирует даже само название — Курапаты (Брод). Их нет на карте. Попытка установить, кто был в 1937—1938 годах исполнителями, оказалась безрезультатна. Дел сотрудников НКВД у нас сегодня нет. Мы установили фамилии двух начальников Минской тюрьмы тех лет. В 1950, 1952 годах они были уволены из рядов МВД в возрасте 55 лет...

Я сознательно привожу целиком, без комментариев все сказанное Виктором Алексеевичем во время нашего разговора. А теперь попытаюсь восстановить суть своих возражений.

Конечно, можно верить, что часть архивов НКВД в начале войны при отступлении наших войск была сожжена, но вот в их потерю мне как-то не верится. Свои архивы сумели спасти от гитлеровцев многие менее «ответственные» организации, вряд ли они могли хотя бы частично пропасть у такого серьезного ведомства, как НКВД. Мой собеседник подчеркнул: уголовные дела также, как и дела «врагов народа», рассматривались «тройкой».

Что ж, попробуем и в этом разобраться. Приговоры над уголовниками приводились в исполнение, как правило, в индивидуальном порядке. Их никто не собирал по несколько десятков, чтобы ежедневно вывозить в лес для казни. Так что и это предположение, бросающее тень на курапатских мучеников, отпадает. Ковалев указал мне на карте места неподалеку от Курапат, где находилось два фашистских концлагеря советских военнопленных. Не могли ли заключенные пополнить число жертв в Курапатах? В принципе не исключено. Но... Ни один из почти двухсот свидетелей трагедии не подтверждает факт расстрелов в этом лесу в годы войны. Результаты эксгумации так же отрицают наличие останков военнопленных в этом лесном массиве.

Так есть ли в архивах МВД и КГБ нужные для следствия материалы? Единственное, что мы можем сказать с полной уверенностью: дела работников органов безопасности, НКВД должны

храниться вечно. Где же они — личные дела тех, чьи показания помогли бы полностью снять покров тайны над Курапатами? Судя по ответам соответствующих ведомств, их пока не нашли...

Свидетельствует житель Бобруйска А. Прохоров, который по роду службы в 1959 году познакомился с архивным делом, находившимся в архиве КГБ при Совете Министров БССР. Оно было заведено на помощника наркома БССР Стояновского и нескольких других ответственных работников НКВД.

— В этом четырехтомном деле сохранились данные о массовых расстрелах репрессированных не только в Минске, но и в других городах Белоруссии. В частности, в начале 1938 года, в одну из ночей, по указанию Стояновского в республике были расстреляны все арестованные. Сделано это было для предупреждения возможного выявления злоупотреблений со стороны работников НКВД. Ожидался пересмотр дел, и было дано указание прекратить приведение в исполнение приговора к высшей мере наказания. Все расстрелы были оформлены задним числом. Палачи понимали, что молчать могут только мертвые. Расстрелы проводились только по спискам.

Ознакомление с этим делом членом правительственной комиссии по расследованию репрессий прояснит многие вопросы. В деле есть многочисленные данные о конкретных лицах, которые подвергались репрессиям, есть частичный ответ на вопрос, почему привлекались и были расстреляны простые необразованные люди из числа рабочих и крестьян. Стояновский дал указание следователям НКВД давать в день одно-два «раскрытия», а если они этого не сделают, то надо провернуть, не являются ли они сами «врагами народа». С целью упрощения процессуального оформления дел Стояновский говорил, что в деле достаточно иметь два «документа» — протокол признания и выписку о приведении приговора в исполнение.

Так заработал конвейер массового уничтожения людей. Исполнителей не интересовали политические взгляды своих жертв. Им было не до теории обострения классовой борьбы. Многие не знали даже про существование этого сталинского тезиса. Главное — давать количество разоблаченных. Для следователя было все равно, где созданная его воображением контрреволюционная организация «пыталась взорвать мост». Жертвы спрашивали, в чем кон-



Курапаты... Митинг памяти жертв сталинских репрессий. Выступает руководитель неформального объединения «Толока» Сергей Витушка

кретно признаваться? Следователь отвечал, что «разоблачены в попытке взорвать мост через реку Двину», но в каком городе — не указывал. Одни «признавались», что хотели провести диверсию в Полоцке, другие — в Витебске . . .

Указанное дело проходило под грифом «Сов. секретно». Считаю, что молчать о том, что мне стало известно о репрессиях, нельзя.

Так есть ли в соответствующих архивах документы, которые помогли бы расставить все точки над «и» в курапатской истории? Верится — есть. Рассказ А. Прохорова еще одно тому свидетельство. Доступ к ним, однако, журналистам перекрыт. Да и не только журналистам . . . Но еще живы многие из тех, кто носил когда-то энкаведистскую форму. С некоторыми из них мне удалось встретиться . . .

«Я БЫЛ СОТРУДНИКОМ НКВД . . .»

Эти люди не охочи до воспоминаний. Даже если не участвовали лично в расстрелах. Тяжесть прошлого давит на многих из них, хотя угрызения совести посещают в бессонные стариковские ночи не всех . . . Людей, стремящихся войти с ними в контакт, чаще всего ожидает разочарование: желательна чья-то рекомендация. А если ее нет, в разговор вступают неохотно, давая недвусмысленно понять: разговор им неприятен.

Один из моих новых знакомых с самого начала разговора вдруг начал кашлять, сначала помаленьку, потом все сильнее и сильнее. Подумал: застудился человек. Ошибся: от волнения кашлял мой собеседник, бывший шофер гаража НКВД. Пятьдесят лет назад он развозил по Минску начальство на легковушке. Людей не расстреливал, но . . . Однажды его, дежурного по гаражу, вызвало начальство и приказало сесть за руль «черного ворона». Сел. Знал, кого везет — «врагов народа». Знал — куда. Тогда это был лес на окраине города. Сюда и привезла машина очередную партию жертв. Показали, где поставить машину, куда направить свет фар. Тех, из «воронка», заставили сесть на край вырытого рва. Дальше — просто. Энкаведисты подошли к жертвам, приставляли наганы к затылкам и люди падали в тьму ямы.

Он, тогда 17-летний шофер, думал — с ума сойдет от увиденного, пережи-

того. Не спал несколько ночей. И теперь с неохотой вспоминает черной памяти ночь, не может совладать с волнением. Благодарит судьбу, что больше не пришлось присутствовать при таком. Наотрез отказался обнародовать в печати даже свои инициалы . . .

А вот Харитонович, когда я приехал к нему в деревню, был и гостеприимен, и разговорчив. Да, служил в Минске в НКВД: перед войной день на пропусках находился, на следующий — заключенных из камер внутренней тюрьмы НКВД к следователям водил. А потом пришлось выводить людей после допросов таких измученных — смотреть не мог. Увидел, как связанных людей, как скот, на трехтонке в последний путь увозили . . . Не выдержал — подал заявление об уходе. Собрали комсомольское собрание, вклеили «строга-ча», заставили забрать заявление. А умные люди подсказывали: сиди и не рыпайся, а то сам загремишь!

— Страшное время было. К примеру, вчера с инструктором по вооружению Жариковым «чекушку» выпили, а сегодня, глазам своим не верю, на допрос веду. Взяли брата — председателя райисполкома, а заодно и его . . .

Из дежурных по внутренней тюрьме помню Ермолаева, Яковлева, Кобу. Они выезжали на расстрелы. Ермолаев застрелился в конце 37-го, нервы, наверное, не выдержали . . .

Из моих знакомых постоянно ездил на расстрелы Фома Абрамчик. Был он родом, помнится, из Копыльского района. Рассказывал, что некоторые, перед тем как принять смерть, кричали «Да здравствует Советская власть! Да здравствует Сталин!».

Я интересуюсь у Сергея Николаевича, переживали ли его знакомые, тот же Абрамчик, что расстреливают людей.

— Знаете — нет. Привыкли что ли . . . Бывало, ночью после расстрелов приедут и — в столовую НКВД. Пьянствуют до утра . . .

Абрамчик — тот складом заведовал. Когда человека арестовывали, то имущество забирали на склад. Так Абрамчик, бывало, говорит мне: возьми часы, не бойся. Я, конечно, отказывался.

— А какова его судьба?

— В последний раз видел его в 47-м, майором органов безопасности стал. Больше не встречались.

Мой собеседник называет имена дежурного коменданта И. Кмита («бил

мух у Цанавы, тогдашнего наркома НКВД БССР»), коменданта Никитина («назовет пофамильно — и команда для расстрела готова»).

Харитонович демобилизовался в 59-м старшим лейтенантом. Последняя должность — дежурный по тюрьме. Он спокойно вспоминает пережитое...

В минской комендатуре НКВД служил в 37-м и Алехно. Ивану Матвеевичу также приходилось приводить к следователям заключенных и уводить после допросов. О Курапатах знал только по разговорам; видел дощатый высокий забор, которым был огражден лесной массив. В НКВД встретился со своим земляком из Цны Григорием Боцяном, надзирателем (однофамилец жителей этой деревни, упоминавшихся в публикации в «Даугаве», 1988, № 9).

— Знал я, что он расстреливал людей, — говорит Алехно. — Хвастал этим по пьянке: привозили на Брод (Курапаты. — Авт.) машины людей и — расстреливали. Нашел чем хвастаться! Был он членом партии, а я — комсомолец. Донос написал на меня, что отец мой младшим офицером в царской армии был. А я тогда сообщил следователям о его хвастовстве насчет расстрелов. Уволили его на следующий день. Умер он уже после войны...

Время было — ничего не понять: вначале военных хватали, потом — людей из НКВД. На собрании хвалили таких, как Боцяна: вот это коммунист, патриот! Конечно, им такие люди нужны были, чтобы в расстрелах участвовали. А мое мнение: я уже и не человек вроде, если в расстрелах участвую. А другим нравилось...

О Боцяне вспоминал и Харитонович, да и Алехно он знал. Но не любят подерживать эти люди связь с теми, кто напоминает им о черных днях жизни... А что уже говорить о тех, чьи руки в крови курапатских жертв? Они сегодня, наверное, ликуют, читая: «... документальных данных о местах приведения приговоров и решений внесудебных органов за 1937—1941 годы в КГБ БССР нет». Значит, пока невозможно установить личности погибших, мотивы и основания приговоров, а также личности, их исполнявших. Неужели!

ЧТО СТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА!

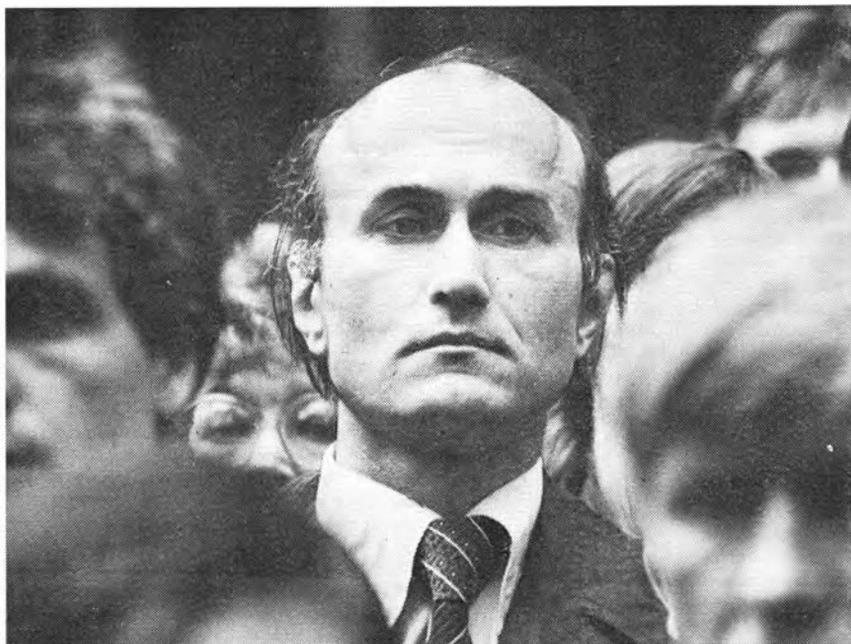
А что же правительственная комиссия, созданная для расследования об-

стоятельств гибели людей в Курапатах? Ее членов, как я выяснил, попросили воздержаться (читай — запретили) от интервью журналистам, сославшись на подходящую статью УК БССР о неразглашении данных предварительного следствия. Это привело в смущение не только меня. Один из работников белорусской прокуратуры так прокомментировал ситуацию: «Статья эта введена в Уголовный кодекс для ограждения следствия от тех лиц, против которых возбуждено уголовное дело, дабы они не приняли контрмеры. А в данном случае от кого?».

Решение, мягко говоря, непонятное. И ведет оно к лишению общественности достоверной информации из первых рук. Ведь одна из целей работы комиссии — доводить до людей все, что связано с курапатской трагедией. А комиссия молчит... Тем временем корреспондента не допускают к материалам следствия, которые уже обнаружены в местной печати. Абсурд. Общественность лишена возможности получать объективную информацию о ходе следствия. «Пресса пишет о Курапатах так, будто больших проблем у следствия нет и вскоре все завершится успешно», — вспомним слова Бролиша. А следствие — в тупиковой ситуации тем временем.

Нас утешают: «Не беспокойтесь: закончится следствие, получите нужную информацию». И будете поставлены перед свершившимся фактом, добавим мы. А он, беру на себя смелость прогнозировать, судя по всему будет таким: основных целей следствие не достигнет. Значит, не оправдаются наши надежды. Увы, сейчас, когда пишутся эти строки, никто не бьет тревогу по поводу того, что следствие зашло в тупик. Вот к чему приводит подмена гласности умолчанием.

В чем причина? Может, и в том, что кое-кто в Минске не горит особым желанием содействовать полному успеху следствия? Ведь читаем же у Алеся Адамовича («Огонек», 1988, № 39), о том, что Минск заслужил в последнее время «печальную репутацию антиперестроечной Вандеи». Речь идет, конечно, о некоторых лицах, ностальгически вздыхающих по милым их сердцу «старым добрым временам». Но силы эти, как видно, еще имеют вес. Им курапатская трагедия как кость в горле...



Зенон Позняк

Что же стучит в наши сердца при слове «Курапаты»? Что стучит в их сердца? О совпадении — речи быть не может . . .

«Человек, который никогда не был в Белоруссии, прочитав о Курапатах, о создании «правительственной комиссии», о «следствии», может подумать, что перестройка в республике пошла далеко вперед в осмыслении народной истории, народной судьбы. Трудно сказать, чего в этой иллюзии будет больше — комического или печального. «Бюрократическая Вандея» делает все дозволенное и недозволенное, чтобы не допустить этой перестройки, не дать возродиться народу и белорусской национальной культуре . . .

Реакция агрессивна. В полуторамиллионном Минске, где большинство жителей белорусы, уже нет ни одной белорусской школы . . . Может что-либо подобное присниться латышу или эстонцу? Наверное, нет.

Никаких результатов правительственной комиссии по Курапатам вот уже несколько месяцев не видно и не слышно. Главная забота должностных лиц в комиссии — «не пущать» инфор-

мацию о расследованиях в Курапатах. Пытаются все засекретить смехотворными ссылками на необходимость соблюдения тайны следствия. Это о событиях — то пятидесятилетней давности, которые необходимо расследовать всенародно, прилюдно, в полной гласности, с участием и при помощи общественности! До сих пор КГБ БССР не представил следствию прокуратуры никаких документов о преступлениях в Курапатах. А ведь известно по свидетельствам реабилитированных, а также от бывших и теперешних сотрудников КГБ, что эти дела в архивах КГБ БССР имеются.

Следователей прокуратуры фактически держат за руки, и они вынуждены заниматься полужурналистской работой — опросом свидетелей расстрелов. Разве это полноценное следствие! Разве в этом только заключается работа следователей-профессионалов? Некоторые службисты активно обеспокоены научными выводами археологических раскопок в Курапатах, особенно данными о послевоенной эксгумации 40-х годов, о «заметании следов». Ведь если эксгумацию не учесть, тогда уби-

тых станет значительно меньше. Обществу хотят выдать если не традиционную ложь, то хотя бы полуправду...»

Об авторе этих слов Алесь Адамович сказал в «Огоньке» так: «Зенон Позняк, историк-археолог, привлечший внимание к Курапатам, — он и сегодня моральный центр этой работы. Человек он негибкий, одержимый правдой — такими движется перестройка». Остается добавить, что Зенон Позняк возглавил общественное формирование «Мариолог Белоруссии», которое, в частности, займется установлением имен жертв и палачей времен сталинизма.

И еще об одной встрече в Минске хочу рассказать. Около часа беседовали мы с Василем Быковым. Он — член правительственной комиссии по Курапатам — вынужден был предупредить меня, что разговаривает со мной как частное лицо. Причины такого заявления читателю уже известны. Итак, слово писателю, лауреату Ленинской премии Василию Быкову:

— Для меня лично, насколько я разбираюсь, совершенно ясно: в курапатской трагедии нет никаких неясных проблем, нет никаких вопросов. Кое-кто хотел бы утопить во мгле неизвестности все, что связано с Курапатами, но, по-моему, фактов достаточно, чтобы во всей полноте представить, что произошло. Говорят, что нет никаких архивных материалов. Это вполне возможно. Но о чем это говорит? Это говорит лишь о том, что убийцы умели прятать концы в воду.

Я думаю, что на сегодня известны мотивы преступления, его причины и причинные связи. Известно время с его атмосферой геноцида и уничтожения, и, в общем, известны исполнители. Кроме того, мы имеем 510 могил с человеческими останками и специалисты путем экстраполяции могут определить общее количество жертв. Мы имеем также около 150 свидетелей и участников этих акций, которые свидетельствуют очень определенно и однозначно: в период с 1937 по 1941 год из минских тюрем вывозились и расстреливались в Курапатах советские лю-

ди — жители Белоруссии, а с 1939-го — жители Западной Белоруссии, с 40-го — жители Прибалтийских республик (латыши и литовцы). Данные раскопок указывают на определенные адреса.

И теперь делать вид, что невозможно доказать принадлежность жертв и палачей, по меньшей мере смешотворно. Палач в 30-е годы был один: ОГПУ-НКВД. Он несет ответственность за Курапаты. И если мы не можем в наше время с нашими средствами науки и криминалистики доказать это, то в данном случае все дело в нежелании это доказывать, в стремлении определенных кругов сокрыть правду о кошмарных репрессиях 30-х годов.

* * *

«... Вскоре после этого за ограду в лес прошла машина с черной будкой. И сразу же послышались выстрелы и людские крики... Когда пролезли за ограду, то увидели, что яма была засыпана свежим песком, который шевелился...».

Это — Курапаты...

«Людей ставили над ямами в ряд. Один раз мы с отцом ехали на телеге возле этого места. Подошли туда. В яме длиной около пяти метров было полно трупов. Они были прикрыты только ветками».

И это о Курапатах...

«Из грузовой машины мужчины выводили людей. Руки у них были назад и связаны. Их начали расстреливать. Люди кричали: «Господи, за что же нас?» Это и нам вопрос.

Минск — Рига

Р. С. Когда этот материал уже был подготовлен к печати, из Минска пришла грустная новость: уголовное дело по курапатской трагедии официально прекращено 14 ноября. Прекращено, несмотря на то, что следователь по особо важным делам при прокуроре БССР Я. Бролиш официально предложил для продолжения следствия плодотворные идеи. Но кому-то уж очень хотелось опустить занавес над народной трагедией. Им это удалось...

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД МОТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ РОМАНА М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

§ 6. ВОЛАНД

Итак, в романе имеется три главных временных среза, заданные уже в самом начале повествования словами Воланда о том, что он присутствовал и за завтраком у Канта, и в Ершалаиме. Следовательно, присутствие Воланда является конструктивным фактором выделения данных временных планов и их связи друг с другом.

Место Воланда в рамках среднего из этих планов довольно очевидно и определяется ассоциациями с «Фаустом»; к этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас в первую очередь попытаемся определить, имеются ли какие-либо следы пребывания Воланда в Ершалаиме.

Никаких прямых указаний на это, однако, в романе нет, за исключением утверждения самого Воланда. Но ведь Воланд говорит, что он находился в Ершалаиме инкогнито; это значит, что он не был простоневидим (как можно было бы предположить), а именно присутствовал, но не в своем обычном, а в трагестированном обличье. Значит, в романе Мастера следует искать отнюдь не прямые, а скрытые, замаскированные следы данного персонажа.

Еще одно важное обстоятельство состоит в том, что и в Москву Воланд приехал под видом профессора черной магии — консультанта и артиста, то есть тоже инкогнито, а значит, тоже не в своем собственном обличье. Следовательно, нет никакой вероятности встре-

тить в Ершалаиме лицо, непосредственно похожее на московского Воланда: сатана несомненно сменил одну маску на другую; при этом атрибутом маскарада сатаны может быть, очевидно, не только одежда, но и черты лица, голос и т. д.¹

Если теперь, с учетом этих предварительных соображений, внимательно взглянуть в повествование о Пилате, то можно обнаружить, что в связи с рассматриваемой темой несомненный интерес представляет фигура Аффрания — начальника тайной стражи. Рассмотрим прежде всего внешний облик этого персонажа. Ни чертами лица, ни взглядом, ни голосом Аффраний непосредственно не напоминает Воланда. Но при отсутствии прямого субстанциального сходства имеются некоторые тонко замаскированные изоморфные черты. Глаза другие, но общей является способность к внезапной и резкой перемене взгляда. Голос другой, но в обоих случаях он резко характерный, имеет маргинальный тембр — и потому отмечен множеством раз: высокий у Аффрания, низкий и тяжелый у Воланда². Аффраний так же мгновенно ме-

¹ Это приравнивание внешнего облика к одежде выступает в словах Азazelло о том, что «он видел не только голых женщин, но даже женщины с начисто содранной кожей».

² Интересно, что у Иешуа голос тоже высок и, как и у Аффрания. Что касается Мастера, то его голос мы долго не можем услышать: на протяжении всего романа он говорит «шепотом», «глухо», «невнятно». И лишь в последней сцене он произносит слова прощения Пилату в полный голос — и тут мы узнаем, что «горы преаратипи

няет костюм, как и Воланд. При этом среди его переодеваний мимолетно мелькает (так же как и у Воланда) его на с т о я щ и й костюм: «хламида» и шпага (меч) на боку. Наконец, Афраний так же мгновенно меняет язык, и так же невозможно, оказывается, определить его национальность. Таким образом, Булгаков задает р е л я т и в н ы е константы образа при полном различии их материальном заполнении.

Интересно описание прихода и ухода Афрания во дворце. Эти два момента даны весьма подробно и с нарочитым параллелизмом, то есть привлекают внимание читателя в качестве мотива. Афраний поднимается (спускается) по лестнице, невидимо с балкона, так что его приход и уход имеют характер появления из-под земли и обратного погружения: «Между двух мраморных львов показалась сперва голова с капюшоном, а затем и совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще»; «(. . .) послышался стук его сапог по мрамору меж львов. Потом срезало его ноги, туловище и, наконец, пропал капюшон. Только тут прокуратор увидел, что солнца уже нет и пришли сумерки»¹. Данный мотив содержит уже явный намек на связь Афрания с преисподней (ср. низвержение Воланда и его свиты в пропасть в конце романа).

Вообще целый ряд мизансцен в романе Мастера содержит значимый параллелизм с некоторыми моментами, связанными с пребыванием в Москве Воланда и его свиты. Рассмотрим с этой точки зрения две сцены.

Первая — это сцена казни на Лысой Горе. Афраний находится тут же. Он сидит на вершине холма «на трехногом табурете». Здесь же находится и Левий Матвей, спрятавшийся в укрытии (в расщелине). Данная сцена совершенно па-

раллельна той, в которой Воланд обозревает Москву с крыши «одного из самых красивых зданий». Это здание, кстати, несомненно является домом Пашкова, который расположен на небольшом холме. Итак, Воланд находится на возвышении (и даже в прямом смысле — на холме); он сидит на складном табурете; рядом воткнута между плитами его шпага (Афраний на Лысой Горе чертит прутиком по песку); наконец, тут же появляется «из круглой башни» (т. е. из укрытия) Левий Матвей.

Другая, еще более важная сцена — убийство Иуды. Тут заслуживают внимания в первую очередь помощники Афрания. Их у него четверо — трое мужчин и женщина. Один из помощников руководит похоронами Иешуа, двое других (и женщина) участвуют в убийстве Иуды. Первого мы не видим непосредственно и узнаем о нем (со слов Афрания) только то, что его зовут «Толмай» (ср. ампула «переводчика» у Коровьева — «толмач»). Далее, гречанка Низа сопоставляется с Геллой, имя которой содержит отсылку к легенде о Фриксе и Гелле (отсылку, подтверждаемую ампула «утопленницы» у Геллы).

О внешности двух убийц мы узнаем только, что один из них был «коренастым» (ср. неоднократно отмечаемый маленький рост kota и Азazelло, сохраняющийся во всех метаморфозах). Мизансценически убийство Иуды обнаруживает ряд параллелей с избиванием Варенухи: и в том и в другом случае действие происходит в укромном месте, в глубине сада, перед жертвой возникают двое, они поочередно наносят удар и овладевают добычей — «сокровищем», которое было у жертвы убийства/ избивания. При этом сопоставление ряда деталей имеет пародийный и комический характер: Гефсиманский сад — уборная театра Варьете; деньги, полученные Иудой за предательство, — портфель с бумагами, которые Варенуха несет в «одно учреждение». Но помимо пародийной функции, данный параллелизм выявляет, кто были убийцы Иуды. Что касается роли самого Афрания в убийстве Иуды, то помимо проявленного им всеведения и «изумляющей всех исполнительности», характерной является деталь с п е ч а т я м и: Афраний спокойно срывает храмовую печать, которой запечатан кошелек Иуды, так как у него имеются

голос Мастера в гром» — то есть, что у него низкий голос. Таким образом, обе соотносительные пары в двух временных срезах романа характеризуются тождественным тембром голоса: он низкий у Мастера и Воланда, высокий у Иешуа и Афрания — такова своеобразная мимикрия Сатаны.

¹ Ср., в связи с последней фразой, также неожиданное наступление вечера во время рассказа Воланда в первой сцене на Патриарших прудах: «Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер».

все печати (ср. эпизод с опечатанной квартирой Берлиоза).

Возвращаясь, однако, к самой сцене убийства, обратим внимание также на то, что один из убийц обнаружил необыкновенную меткость, приняв падающего Иуду на нож и попав прямо в сердце (Афраний говорит Пилату, что Иуда был убит «с большим искусством»). Ср. разговор на балу у Воланда о необыкновенной меткости Аззелло, о том, что он попадает без промаха «в любое предсердие сердца или в любую из желудочков». Данный разговор возникает в связи с убийством барона Майгеля, которого Аззелло застрелил, обнаружив такое же необыкновенное искусство, как и при убийстве Иуды, — изменилось только, в соответствии с костюмом, также и оружие убийства. В связи с этим возникает также параллель Майгель — Иуда, и не просто сходства амплуа доносчика (и притом занимающегося иностранцами — ср. отношение Иуды и Иешуа, недавно пришедшего в Ершалаим), но также мотивный параллелизм, позволяющий отождествить данные два образа как два кореллята мифологического повествования.

Действительно, сцены убийства Майгеля и Иуды имеют целый ряд общих деталей: праздничный, парадный костюм убитого; поза, в которой лежит убитый (труп Майгеля обнаружен «с задраннойверху подбородком» — Иуда лежит лицом вверх и с раскинутыми руками). Интересно также то, что Майгель явно нарочно назван бароном; с этим сопоставляется имя Иуды и з Кириафа (то есть «von Kuriath»). Наконец, перед убийством Воланд заявляет Майгелю о том, что ходят слухи, что его как наушника и шпиона ждет печальный конец («не далее как через месяц»; совершенно аналогичным образом Пилат побуждает к убийству Иуды словами о том, что ему «стало известно», что Иуда будет убит).

Но самая выразительная деталь — когда Маргарите подносят кубок, наполненный кровью Майгеля, эта кровь оказывается вином: « (...) кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздьи» — намек на Гефсиманский сад¹. В этом мотиве просту-

пает полное слияние двух образов и исчезновение времени в мифологическом повествовании. В связи с этим выясняется также, что лужа крови, которая вытекает у кота в сцене его мнимой комической гибели /воскресения и на месте которой затем выступает труп Майгеля, — это в действительности кровь Майгеля и Иуды.

Итак, проведенный анализ позволил выявить место Воланда и его свиты в ершалаимском плане повествования. Нам осталось еще уточнить некоторые детали, связанные с проекцией данного образа в других хронологических срезах.

Говоря о Воланде-Мефистофеле, мы уже не раз отмечали оперную окраску его облика в данной роли; постоянно подчеркиваемый низкий бас, намек на исполнение им басовых партий (Гремина из «Евгения Онегина», романса Шуберта), наконец отсылка уже собственно к арии Мефистофеля в связи с темой валюты и прямые указания на оперу Гуно: « (...) вы даже оперы «Фауст» не слышали?» — спрашивает Мастер у Бездомного, услышав рассказ того про встречу на Патриарших прудах¹.

Заметим далее, что романс Шуберта «Скалы, мой прият», исполняемый Воландом по телефону, отсылает нас, как кажется, не только к Мефистофелю, но и к Демону — опять-таки оперному Демону Рубинштейна. Мы имеем в виду декорации пролога оперы «Демон» в знаменитой постановке с участием Шалапина — нагромождение скал, с высоты которых Демон-Шалапин произносит свой вступительный монолог «Проклятый мир». Данное сопоставление важно тем, что персонафицирует Воланда-Мефистофеля как оперный образ именно в воплощении Шалапина (NB высокий рост, импозантную оперную внешность героя Булгакова). Действительно, в романе имеются указания почти на все оперные партии, хрестоматийно связанные с именем Шалапина: Мефистофель

с собой, в сущности, не что иное, как причастие кровью Иуды. О значении данного мотива см. § 7.

¹ Ср. также подчеркнутые черты оперного Мефистофеля в портрете издателя Рудольфи, а также ряд других реминисценций из «Фауста» Гуно в сцене его появления перед Максудовым в «Театральном романе», отмеченные М. О. Чудаковой [у к. с о ч., с. 84].

¹ Кроме того, данная сцена представляет

(«Фауст» Гуно и «Мефистофель» Бойто), Демон, Греммин, Борис Годунов.

Таков круг литературно-оперных проекций образа Воланда, ядром которых является оперный Мефистофель. Нам осталось рассмотреть еще одну ипостась этого образа, связанную с третьим — московским — планом повествования. Дело в том, что большинство московских персонажей — Берлиоз, Бездомный, Рюхин, сам Мастер (см. § 7.1) — имеют, в качестве одной из проекций, прототипическое соответствие. Естественно поэтому задаться вопросом, не существует ли такового и для Воланда.

В этом плане следует еще раз вернуться к тому внешнему облику, в котором выступает Воланд для окружающих во время своего пребывания в Москве. Это — знаменитый иностранец («профессор»), прибывший в советскую столицу в основном из любознательности. Его опасаются, постоянно ждут от него каких-нибудь неожиданностей (ср., например, реакцию Римского), даже подозревают в нем шпиона — но в то же время страстно желают услышать от него похвалу новой Москве и москвичам (сцена с Бенгальским во время сеанса в Варьете). Все эти детали довольно живо напоминают обстоятельства визитов в Москву «знаменитых иностранцев» — от Герберта Уэллса до Фейхтвангера и Андре Жида. Отметим, что эпизод с пустым пиджаком, пишущим резолюции, является намеком на Уэллса («Человек-невидимка»); да и сама идея «машини времени» созвучна характеру романа Булгакова, а также уже упоминавшихся его пьес. Заметим далее, что фамилия Андре Жида содержит каламбурный намек на «Вечного Жида» (ср. аналогичное каламбурное обыгрывание имен, многократно встречающееся в романе). Сопоставим в этой связи легенду, связывающую Вечного Жида с шестивием на Голгофу и факт участия Аффрания в казни Иешуа, а также, в особенности, «глумление» — преследование Воландом Бездомного во время его «шествия на Голгофу» — погони по арбатским переулкам (ср. § 1 и 5). Наконец, роман Фейхтвангера «Лже-Нерон» (1936 г.) получил как раз в это время большой резонанс в СССР и был сразу же переведен на русский язык (в 1937 г.).

Последнее сопоставление, помимо его пародийного смысла, интересно и как еще одно указание на раздвоение

московского плана на мир 20-х годов («эпоха Тиберия» — визит Уэллса) и мир 1936—1938 гг. («эпоха Нерона» — время визитов Андре Жида и Фейхтвангера).

§ 7. МАСТЕР

7.1. Наиболее очевидным образом Мастер и его судьба связаны с героем его романа — Иешуа. Это и бездомность Мастера, теряющего свою квартиру, и всеобщая травля, заканчивающаяся доносом и арестом, и предательство Могарыча, и тема тюрьмы — казни, связанная с пребыванием в клинике Стравинского, и мотив Ученика.

Сходство с Иешуа подтверждается также в о з р а с т о м Мастера, хотя это подтверждение дается косвенно, посредством скрытого обращения к тексту Евангелия. А именно, Мастеру «лет 38», то есть значительно больше канонического возраста Христа (33 года). Но сам Иешуа, соответственно, оказывается на столько же м о л о д же — ему в романе 27 лет. Иными словами, возраст обоих героев разведен в разные стороны на примерно одинаковое расстояние относительно возраста Христа.

Исход Мастера — это гибель и затем «пробуждение» — воскресение для покая. Интересно, что в романе не говорится прямо о воскресении Иешуа, его история ограничивается (в соответствии с традиционными рамками Пасхиона) погребением. Но тема воскресения настойчиво повторяется в романе, сначала пародийно («воскресение» Лиходеева, Куролесова, кота), и, наконец, в судьбе Мастера. Перед нами еще один пример к о с в е н н о г о введения в роман евангельского рассказа.

Интересна также трактовка воскресения как п р о б у ж д е н и я. Тем самым прошлое, тот мир, в котором Мастер жил, оказывается представленным как сон и как сон — исчезает: «уходит в землю», оставляя по себе дым и туман (конец сцены на Воробьевых горах). Данный мотив выступает и в словах прощенного (и тоже п р о б у д и в ш е г о с я) Пилата в эпилоге — о казни: «Ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было? — Ну, конечно, не было, — отвечает хриплым голосом спутник, — это тебе померещилось». (Правда, «обезображенное лицо» и «хриплый голос» спутника Пилата говорят об обратном — но такова логика мифа.) Ср. также связь мотива пробуждения с

у тр о м — концом шабаша («крик пехуха»)¹. В этом отношении сон и пробуждение Никанора Ивановича оказываются пародией сна и пробуждения Мастера. В эпилоге выясняется, что с героями сна Босого ничего не случилось, «да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их (...) Все это только снилось Никанору Ивановичу»². Здесь опять, как мы уже неоднократно наблюдали, «высокое», ключевые моменты смысловой структуры оказываются зашифрованными в пародийно-комических ситуациях.

Рассмотрим теперь другие проекции образа Мастера. Во-первых, в связи с наличием в романе многочисленных прототипических ситуаций, возникает вопрос о существовании таковой и в отношении главного героя.

Образ Мастера имеет у Булгакова прежде всего ясные автобиографические ассоциации. Обстановка травмы, в которой оказался Булгаков во второй половине 20-х годов, весьма напоминает обстоятельства, о которых рассказывает Мастер. Это и полное отрешение от литературной жизни, и отсутствие средств к существованию, и постоянное ожидание «худшего» (поскольку статьи-доносы, градом сыпавшиеся в печати этих лет, имели отнюдь не только литературный, но и политический характер)³. Кульминацией всей этой, тянувшейся несколько лет

«кампании» стало известное письмо Булгакова к Советскому правительству (собственно, к Сталину) — в 1930 г. Примечательны заключительные слова этого письма: «(...) у меня, драматурга, написавшего шесть пьес, известного и в СССР и за границей, — налицо в данный момент — ни щ е т а, у л и ц а и г и б е л ь». Обращает на себя внимание буквально дословное совпадение с тем, как Мастер оценивает свое положение, ясно свидетельствующее о том, что судьба Мастера сознательно ассоциировалась Булгаковым с его собственной судьбой. Характерно, что само письмо становится в этой связи не только биографическим, но и литературным фактом — заготовкой к роману (поскольку образ Мастера появился лишь в более поздних редакциях романа) — к этой важной особенности письма мы еще вернемся.

В плане автобиографических ассоциаций существенно также, что главной причиной кампании против Булгакова явился его роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных», и прежде всего главный герой этих произведений — «белогвардеец» Алексей Турбин. Связи романа «Белая гвардия» с мотивом шествия на Голгофу неоднократно отмечались выше (упомянем еще в этой связи, в качестве характерной детали, эпический зачин, придающий всему роману черты притчи: «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» — и т. д.). Таким образом, является не только сходство в положении Булгакова и Мастера, но и параллелизм героя романа Булгакова и романа Мастера и их литературной судьбы, которая, в свою очередь, является не только причиной, но и параллелью судьбы их авторов (ср. также § 1).

Эти связи, с одной стороны, могут оказаться существенными для анализа романа «Белая гвардия», с другой стороны, мы вновь сталкиваемся здесь с важным мотивом: судьба автора отождествляется с судьбой литературного героя, следовательно, тем самым как бы становится л и т е р а т у р н ы м ф а к т о м. Такое отождествление является также примером смешения различных модусов, столь же характерного для мифологического повествования, как и смешение различных временных планов.

Для автобиографической проекции

¹ Мотив сна, в котором проигрываются различные — бывшие и не бывшие в действительности — варианты прошлых событий, является важнейшим мотивом в творчестве Булгакова и прослеживается в упоминавшихся ранее рассказах, «Белой гвардии», пьесе «Бег», «Театральном романе». Данный мотив был подробно проанализирован М. О. Чудаковой (у к. с о ч.).

² Ср. также в этой связи полуиронический совет Воланда объяснить хозяину дома, если он хватится исчезнувшего Могарича, что тот ему п р и с н и л с я.

³ Автобиографичность образа Мастера особенно подчеркнута в воспоминаниях С. Ермолинского [О Михаиле Булгакове, «Е а т р», 1966, № 9], где ряд биографических деталей явно стилизуется по их литературному соответствию [жизнь Булгакова в полуподвальной квартире, снимаемой от застройщика, — стр. 82 и т. д.], а описание последних дней писателя обнаруживает даже реминисценции с образом Иешуа («Он лежал голый, лишь с набедренной повязкой. Тело его было сухое» — стр. 97). Эти детали показывают, как воспринимался роман Булгакова близкими писателю людьми.

образа Мастера, быть может, является существенным и тот факт, что образ Маргариты содержит намек на Елену Троянскую: ср. мифологизованный облик женщины «непомерной красоты», который она принимает в финале; ср. также ее связь с королевой Марго (по Дюма), выступающей в романе Дюма в качестве романтической причины распри между католиками и гугенотами. Связь с мотивом Елены Троянской придает, в свою очередь, образу Маргариты автобиографическую проекцию (Елена Сергеевна — жена Булгакова и несомненный прототип Маргариты).

Однако автобиографические черты являются, возможно, не единственной прототипической проекцией образа Мастера: данный образ может быть также приведен в связь с личностью и судьбой Мандельштама. Судьба Мандельштама в середине 30-х годов — это арест и ссылка в Чердынь (Северный Урал), следствием которой явилось временное психическое расстройство, приведшее к попытке самоубийства (Мандельштам выбросился из окна больницы в Чердыни)¹. Для данного сопоставления, быть может, является также значимым сон Маргариты (начало второй части романа), в котором она видит Мастера в безотрадной местности, в жалком виде, а также мотив безумия Мастера («Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали»). Интересен также разговор его с Иваном в клинике (ср. установленную ранее связь клиники с тюрьмой) о возможности выпрыгнуть с балкона и убежать: «Нет, — твердо ответил гость, — я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удрать некуда». Наконец, сама буква «М» на колпаке Мастера в связи со всеми этими факторами получает амбивалентное значение, выступая как анаграмма имени (ср. другие анаграммы в романе — § 2); при этом она выступает в качестве двойной анаграммы: с одной стороны «Михаил» (Булгаков), с другой, возможно, также «Мандельштам».

¹ Обстоятельства этой первой ссылки были впоследствии подробно описаны в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам. Данные обстоятельства, по-видимому, должны были быть известны Булгакову. Ср. также упоминаемый С. Ермолинским [у.к. с. о.ч.] факт раннего [с начала 20-х гг.] знакомства Булгакова с Мандельштамом.

7.2. Как было показано выше, между Ершалаимом — Римом и Москвой выделяется еще один, не менее важный временной срез — начало XIX века. В этом срезе Мастер и Иешуа имеют целый ряд связей и проекций.

Однако сравнительно в малой степени это относится, как ни странно, к образу Фауста. Между Мастером и Фаустом удается обнаружить на протяжении всего романа довольно скудные связи, за исключением, конечно, общей темы контакта с Мефистофелем-Воландом. Так, образ Фауста из пролога — старого мудреца, алхимика (связь с мотивом «сокровища») — пародийно проступает через ассоциацию с аббатом Фариа. Тема ученика, не понимающего своего учителя, — тема Левия и Ивана — напоминает о взаимоотношениях Фауста и Вагнера.

Связь с Фаустом более отчетливо проступает лишь в последней главе — во-первых, в мотиве стремительной скачки и, наконец, в заключительной сцене, где Воланд убеждает Мастера принять приют, уже прямо ссылаясь на «Фауста» («Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула?»). Эту актуализацию темы Фауста в связи с приютом мы, однако, рассмотрим несколько ниже.

Соответственно и Маргарита не имеет ничего общего с героиней «Фауста» ни в характере, ни в судьбе. Ее отличие даже подчеркнуто — в эпизоде с Фридой, которой она вымаливает прощение и судьба которой напоминает судьбу Маргариты из «Фауста». Наконец, на балу «выясняется», что Маргарита — родственница королевы Марго, и таким образом ее имя окончательно переключается в иную смысловую плоскость.

Таким образом, тема «Фауста» имеет в романе постоянные и непосредственные связи с темой Мефистофеля и Вальпургиевой ночи (и притом, как мы видели, это скорее связи оперного «Фауста»), но не с характерами главных героев.

Однако, если многое из того, что прямо и непосредственно утверждается в романе, впоследствии оказывается «ложной экспозицией», — то имеет место и обратная закономерность, в силу которой все то, что прямо и явно опровергается и отрицается, скрыто, через ряд ассоциаций, входит в структуру

романа, и притом в качестве особо важных, ключевых моментов его смысла. Мы видели раньше действие этого принципа в отношении канонического евангельского текста, который непосредственно и открыто на каждом шагу опровергается, но через посредство мотивной техники постоянно скрыто сопresentуется в романе (ср., например, тему воскресения и многое другое). Аналогичной оказывается в романе и судьба «Фауста» Гете: заглавие романа и эпиграф вызывают ожидание сильнейших реминисценций с этим произведением, и прежде всего в отношении главных героев (имя Маргариты в заглавии, слова Фауста в эпиграфе). Это ожидание оказывается обманутым: герои романа совсем не похожи на героев поэмы; более того, настойчиво вводится в структуру романа о перенный вариант — так сказать, апокриф «Фауста». Но именно на фоне этих обманутых надежд в финале романа косвенно выясняется, что тема «канонического» (гетевского) «Фауста» не только постоянно скрыто сопresentуется в повествовании, но оказывается ключевой для понимания общего смысла романа.

Чтобы стало ясным это последнее утверждение, рассмотрим сначала еще одну важную проекцию образа Мастера в «грибоедовско-фаустианской» эпохе — мы имеем в виду Пушкина. На данную параллель уже указывалось выше (§ 5). Заметим, что сходство Мастера и Пушкина подтверждается также возрастом (38 лет). Таким образом, зеркальное отождествление возраста Мастера и Иешуа, через возраст Христа, сочетается с точным соответствием по этому признаку Мастера и Пушкина, в силу чего и Пушкин в свою очередь включается в аналогичное соотношение с Иешуа (заметим попутно, что возраст, в котором погиб Пушкин, был особенно «актуален» в связи с пышным празднованием юбилея — столетия со дня смерти — в 1937 году). Перед нами еще один пример «магических» операций с числами.

В связи с данной параллелью становится понятной и та большая роль, которую играют в романе произведения Пушкина: прямо или косвенно включенными в повествование оказываются «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Скупой рыцарь», «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Медный всадник», «Сказка о золотом петушке»,

«Песнь о вещем Олеге». Судьба Мастера, как она определена в разговоре Воланда с Левием Матвеем, формулируется в виде скрытой цитаты из Пушкина: «Он не заслужил света, он заслужил покой» (ср. «На свете счастья нет, но есть покой и воля»!).¹

Итак, трем основным временным проекциям романа соответствуют три главных героя: Иешуа — Пушкин — Мастер (с автобиографической проекцией образа последнего). Данная параллель, как кажется, может прояснить один важный момент в смысловой структуре романа — отказ Мастеру в «свете» и конечную связь его судьбы с царством Воланда. Вспомним то раздвоенное, которое постигает в романе образ Пушкина: с одной стороны, это коррелят Иешуа, с другой — идол, «металлический человек», объект юбилейного торжества. Данный мотив способен прояснить и смысл судьбы Мастера (и, очевидно, всякого художника) в концепции романа Булгакова. Мы можем вернуться теперь, в этой связи, к теме «приюта».

«Приют» Мастера, в его прямой экспозиции в романе, подчеркнуто, нарочито идиличен; он перенасыщен литературными атрибутами сентиментально-благополучных финалов: тут и венецианское окно, и стена, увитая виноградом, и ручей, и песчаная дорожка, и, наконец, свечи и старый преданный слуга. Такая подчеркнутая литературность и сама по себе способна уже вызвать подозрения, которые еще более усиливаются, если учесть то, что мы уже знаем о судьбе многих прямых утверждений в романе. Действитель-

¹ В самой биографии Булгакова имеется ряд характерных деталей, указывающих на то, что он, сознательно строя свою биографию [по крайней мере, частично] как литературный факт, не раз ориентировался при этом на Пушкина. Так, в уже упомянутом письме к правительству Булгаков, обращаясь к Сталину, просит того быть его «первым читателем» — явная отсылка к взаимоотношениям Пушкина и Николая I. В 1936 г. (на волне всеобщей подготовки к пушкинскому юбилею и вскоре после окончания собственной пьесы о Пушкине) Булгаков начинает работать над историей — готовит материалы к «Курсу истории СССР». Данные параллели через посредство темы Пушкина еще раз скрепляют автобиографическую линию в романе.

но, проанализировав мотивные связи, которые имеет приют в романе, мы обнаруживаем косвенно выявляемый смысл данной темы.

Прежде всего, приют находится в сфере Воланда. Тут дело не только в прямом содержании разговора Воланда с Левием Матвеем — произнесенный в нем приговор мог бы быть затем и дезавуирован. Но в самой обрисовке приюта имеется деталь — мотив, недвусмысленно указывающий на присутствие Воланда: Воланд говорит Мистру, что здесь тот сможет слушать музыку Шуберта. Сопоставим это с тем, что ранее мы слышали отрывок из романа Шуберта («Скалы, мой приют») в исполнении «баса» по телефону — то есть самого Воланда.

Утверждение приюта как сферы Воланда проводится и в других мотивных связях данной темы. Обращает на себя внимание топографическое сходство приюта с пейзажем из сна Маргариты (см. § 7.1): ручей и за ним одинокий дом, и ведущая к нему тропинка («кочки» во сне, песок в приюте). Данное сопоставление не только сообщает приюту соответствующую окраску (ср. безотрадность и безнадежность пейзажа в сне Маргариты), но и переносит некоторые определения, которые из метафорически-оценочных (какими они как будто являются во сне) превращаются в буквалыные по отношению к приюту: «неживое все кругом (...)», «Вот адское место для живого человека!», «(...) захлебываясь в неживом воздухе (...)», «(...) бревенчатое зданье, не то оно — отдельная кухня, не то баня, не то черт его знает что»; как уже не раз наблюдалось в романе, то, что сначала казалось лишь расхожей метафорой, оказывается впоследствии пророчеством.

Далее, с приютом сопоставляется также пейзаж клиники (стоящей на берегу реки у соснового бора), что еще раз подкрепляет мотив тюрьмы-ссылки. Но самая важная из топографических проекций приюта — это Гефсиманский сад¹, место

убийства Иуды; опять река (через которую переправляются по камням), и за ней одинокое здание на возвышении (NB здесь также попутно возникающую связь клиники с Гефсиманским садом, функциональный параллелизм которых уже отмечался ранее в § 3.2). Данная параллель возвращает нас к мотиву причастия кровью Иуды (см. § 6), которое на балу скрепило договор с сатаной и конечным результатом которого оказывается приют (ср. также мотив виноград а в причастии и в описании приюта¹).

В результате всех этих связей приют выступает как результат договора с сатаной. Именно здесь, в косвенной характеристике приюта, проступает фаустянский смысл образа главного героя и романа в целом. Данная тема органически соединяется и с раздвоением образа Пушкина, и с приведением Коровьева в связь с мотивом капле-мастера (Крайслера) — кантора св. Фомы. Для художника-творца, в

XIX в.] — сон Маргариты [с возможной прототипической связью со ссылкой Мандельштама] и клиника.

¹ Зловещая символика, с которой связан в романе виноград (и которая накладывает недвусмысленный отпечаток на описание приюта), проявляется не только в теме Гефсиманского сада, но еще раз подтверждается в сцене казни — в песенке про виноград, которую поет на кресте Гестас. Попутно заметим, что аналогичный сказочный смысл получает в романе также мотив растительного масла [ср. масляный жом в Гефсимании]. Таким образом, оливковое — розовое [мучившее Пилата] — подсолнечное масло закрепляется в качестве сквозного мотива, и комическая фраза «Аннушка уже пролила масло» не только сбывается как пророчество на Патриарших прудах, но и приобретает более широкий апокалиптический смысл [ср. аналогичное строение фразы — «кровь уже давно ушла в землю» — в сцене причастия]. Сопоставляя мотивы масла и винограда — крови-казни, можно заметить, что появление первого мотива всегда предшествует роковым событиям в романе — предательству Пилата, убийству Иуды. Соответственно и гибель Берлиоза выступает в этой связи как акт, предвещающий будущий договор Мастера с Сатаной, скрепленный кровью Иуды. В свете данной трактовки получает смысл и сопоставление Берлиоза с Иоанном Крестителем [мотив отрезанной головы — ср. § 2], на первый взгляд чисто пародийное: функционально в романе-апокрифе Берлиоз оказывается предтечей Иуды.

¹ Таким образом, тройной временной проекции основных персонажей романа [с обязательным прототипическим соответствием для современного плана и литературными связями для XIX в.] соответствует также корреляция «Гефсиманский сад — приют [с приметями литературности и отсылками к обстановке начала

концепции Булгакова, оказывается характерной амбивалентность связей — не только с Иешуа, но и с Воландом. Это проявляется, между прочим, и в том, что внешность Мастера в клинике и в сне Маргариты (небритый, всклокоченные волосы, блуждающий взгляд) — это внешность одержимого бесом (ср. тему «бесов» Достоевского в романе). Здесь выявляется важное отличие Мастера от Иешуа, а также, равным образом, и от Пилата (который в финале получает прощение и устремляется по лунной дороге с Иешуа). Иешуа (как и Пилат) не является творческой личностью, он всецело обращен к «реальной» жизни, к непосредственным контактам с окружающими его людьми; между ним и окружающим его миром связи прямые, а не опосредованные барьером художественного (или научного) творчества. Иешуа не только ничего не пишет сам, но резко отрицательно относится к записям своего ученика Левия (ср. также отношение Пилата к записывающему его разговор с Иешуа секретарю). В этом он прямо противоположен образу Мастера-творца у Булгакова, бегущего из жизни, более того, самую свою жизнь превращающего в «литературу», в материал творчества — еще один пример того, как, казалось бы, полное и явное сходство оказывается в конце концов лишь средством для того, чтобы сильнее подчеркнуть различие. В финале романа выясняется, что не совершивший предательства и мучимый раскаянием Пилат, а именно Мастер, чья судьба, как казалось сначала, являла собой полный параллелизм с историей его героя, оказывается подлинным и более глубоким антагонистом Иешуа.

Гефсиманский сад оказывается той точкой, где расходятся пути Христа и Мастера. Первый, преодолев слабость, выходит из этого «приюта» навстречу своей судьбе. Второй остается и замыкается здесь, как в вечном приюте («мне некуда идти», — говорит Мастер в клинике). Вот почему в романе Гефсиманский сад оказывается связан с темой Иуды, и кровь Иуды скрепляет договор Мастера с сатаной¹ и оставляет Мастера в вечном приюте.

¹ Проанализированный мотив сообщает еще один мифологический статус всему роману в целом: это апокриф, вызывающий, в частности, ассоциацию с про-

чувство вины, ответственности за какие-то критические моменты собственной жизни постоянно мучило Булгакова, послужило важным импульсом в его творчестве и нашло выражение в целом ряде его произведений — от ранних рассказов и «Белой гвардии» до «Театрального романа» (см. об этом § 1). Этот автобиографический мотив многими нитями ведет к Пилату — тут и страх, и «гнев бессилия», и мотив повешенного, и еврейская тема, и проносящаяся конница, и, наконец, мучающие сны и надежда на конечное прощение, на желанный и радостный сон, в котором мучающее прошлое окажется зачеркнуто, все прощено и забыто. Однако данный мотив в процессе творчества писателя (очевидно, именно благодаря этому творчеству) оказался постепенно вытеснен и деперсонифицирован. Уже в «Театральном романе» он выступает только как импульс к творчеству (ср. гораздо более болезненную трактовку аналогичного эпизода в наброске «Тайному другу»). В последнем же произведении Булгакова кровь на снегу вобрала в себя белый плащ с кровавым подбоем Пилата — мотив вины оказался вытеснен в образ, не имеющий ни явной автобиографической проекции, ни мотивных связей с Мастером.

Параллельно с мотивом личной вины, постепенно вытесняемым и творчески сублимируемым, в творчестве Булгакова складывается другой мотив, который также является от произведения к произведению, но, в отличие от первого, неуклонно нарастает, выявляется со все большей отчетливостью и все яснее приобретает автобиографические черты. Этот мотив — ответственность и вина творческой личности (художника, ученого), которая идет на компромисс с обществом, с властью, уходит от проблемы морального выбора, искусственно изолирует себя от обступающих извне проблем,

изведением, вышедшим из секты кинитов, — «Евангелием Иуды» [ср. мотив «Евангелия Дьявола» в романе — § 1]. В этой связи вновь нельзя не обратить внимание на параллелизм художественной концепции Булгакова с Томасом Манном, свидетельствующий о глубокой закономерности постановки данных проблем в эту эпоху [30—40-е годы.]

² См. публикацию данного эпизода: М. Булгаков. «Мне приснился сон...» [«Неделя», 1974, № 43].

чтобы получить возможность работать, реализовать свой творческий потенциал (и достигнуть бессмертия) — то есть, подобно Фаусту, вступает в сделку с сатаной, в обмен на творческую реализацию (и связанное с ней бессмертие). Первые подступы к этой фаустианской теме обнаруживаются в образах героев ранних повестей — профессора Персикова «Рокковые яйца») и Филиппа Филипповича («Собаке сердце»), творческая активность которых, подчеркнута изолированностью от окружающих их реальностей, собственно и служит главным средством, при помощи которого они воздвигают барьер между собой и этой презираемой и как бы не замечаемой ими реальностью, и в конце концов приводит к катастрофическим последствиям. Этот мотив активизируется и соединяется уже с лично более близкой автору темой художника в работе Булгакова над произведениями о Пушкине и Мольере: сложность отношений художника и власти, компромиссы, слабость художника в полной мере выступают в образе Мольера. Что касается Пушкина, то этот аспект его личности Булгаков, как мы видели, имел в виду, прося Сталина быть его «первым читателем»; юбилей Пушкина, с его официальностью и мотивом «бессмертия», должен был еще больше активизировать в сознании писателя эту линию. И, наконец, кульминационной остроты и в то же время наибольшей открытости автобиографических связей этот мотив достигает в образе Мастера.

Как известно, первые редакции романа (1929—1933 гг.) строились без Мастера. В центре находился рассказ Воланда о Пилате и Иешу («Евангелие Воланда»). То есть основной моральной проблемой романа должна была стать проблема Пилата, и в этом смысле роман обещал прямое продолжение той мотивной цепи, которая являлась центральной в творчестве Булгакова 20-х годов. С появлением образа Мастера данная проблема оказалась вытеснена из круга личных ассоциаций и заменена в этой функции гораздо более важной для писателя в 30-е годы фаустианской темой. Чувство личной вины за какие-то конкретные поступки, растворившись в творчестве, заменилось более общим чувством вины художника, совершившего сделку с сатаной¹ (этот сдвиг в

сознании писателя наглядно выделяется в романе в том, что именно Мастер отпускает Пилата, объявляет его свободным — а сам остается в «вечном приюте»). Человек, молча давший совершиться у себя на глазах убийству, вытесняется художником, молча смотрящим на все совершающееся вокруг него из «прекрасного далека» (еще один — гоголевский — вариант фаустианской темы, весьма значимый для Булгакова — ср. также далее § 7.3), — Пилат уступает место Мастеру. Вина последнего менее осязательна и конкретна, она не мучает, не подступает постоянно навязчивыми снами, но это вина более общая и необратимая — вечная¹.

Формировании этой линии послужило письмо Булгакова к правительству и последующий телефонный разговор со Сталиным [весна 1930 г.], в которых писатель сделал окончательный выбор. См. об обстоятельствах этого разговора: С. Ляндрес. Материалы к творческой биографии М. Булгакова, «Вопросы литературы», 1966, № 9, стр. 139.

¹ Е. Миллиор, в своем исследовании «Размышления над романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Л., 1975 [рукопись] отмечает последний из трех снов Ивана в элилоге [который заканчивает роман, т. е. выделен композиционно], в котором Ивану является «непомерной красоты женщина», уводящая Мастера к луне, — как указание на то, что в конце концов Мастер и Маргарита покидают свой «приют» и устремляются к «свету» — по той же лунной дорожке, по которой ушел ранее прощенный Пилат с Иешуа. Это наблюдение еще раз подтверждает амбивалентную неопределенность смысла романа, не дающего окончательных и однозначных решений, а лишь метафорические намеки-пророчества [ср. также низвержение в пропасть бесов в конце романа, которое может быть понято и как одновременное освобождение «одержимого бесом»].

Еще один возможный вариант трактовки окончания романа — исчезновение того мира, уход от которого был главной виной Мастера, означает его освобождение от этой вины: вины не только нет, но и никогда не было, ибо не было и самого этого прозрачного мира, в котором она возникла. В этом плане превращение города за спиной Мастера в «дым и туман» служит таким же более общим коррелятом отменяющего вину сна — прощения у Пилата (и его предшественников в творчестве Булгакова), как и сама вина Мастера является более общим, метафизическим коррелятом личной вины.

Вообще следует сказать, что конечная судьба Мастера, как одно из «загадочных» мест романа, привлекает целый ряд ис-

¹ По-видимому, важным моментом в

7.3. В заключение рассмотрим еще один ряд ассоциаций, связанных прежде всего с образом Мастера, но важных также для романа в целом и придающих всему повествованию еще один существенный аспект. Имеется в виду тема Гоголя. Данная тема проявляется на протяжении всего романа в виде многочисленных отсылок к различным произведениям Гоголя. Это, во-первых, различные «фольклорные» мотивы: хоровод русалок («Майская ночь»), полет на метле («Ночь перед Рождеством»), чудесное избавление от нечистой силы благодаря крику петуха («Вий»). Далее, это скандал с украденной головой Берлиоза («Нос»), выглядывающий в углу черт («Записки сумасшедшего»), панорама залитого солнцем города («Рим»). Отметим также, что трактовка в романе роли искусства и художника вызывает в памяти «Портрет» Гоголя.

Но главным в ряду этих ассоциаций является мотив с о ж ж е н н о г о р о м а н а, отсылающего к «Мертвым душам» и более того — уже не только к творчеству, но и к личности и судьбе Гоголя. Заметим, что «Мертвые души» (а также «Ревизор») названы Коровьевым в уже не раз упоминавшейся сцене перед рестораном накануне сожжения Грибоедова — в ряду других, важнейших для романа произведений и имен, таких, как «Фауст», «Евгений Онегин», «Дон Кихот» и Достоевский¹.

следователей [см., напр., М. О. Чудакова, ук. соч., стр. 135—136; И. Виноградов. Завещание Мастера. «Вопросы литературы», 1968, № 6]. Подчеркнем, что окончание этой сюжетной линии амбивалентно и неоднозначно в той же мере, как и развязка всех судеб, данная в эпилоге: такова в принципе природа повествования. Поэтому любой однозначный ответ неизбежно показывает только одну сторону, один срез данной темы.

Попутно отметим, что для понимания романа не менее важным является то, какие имена и произведения оказываются несущими миссию для его мотивной структуры. Проведенный мотивный анализ позволяет установить это с полной определенностью. В частности, если говорить о реминисценциях из русской литературы, бросается в глаза, что при той огромной роли, которую в романе играют отсылки к Пушкину, Гоголю, Достоевскому [а также, в меньшей степени, Крылову и Грибоедову], — в мотивной структуре практически не проявляются Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов: даже тема по-

Данное сопоставление имеет, как кажется, принципиальное значение для оценки композиции и литературной судьбы романа Булгакова.

Оно позволяет ответить на важнейший для понимания романа вопрос — закончен ли роман «Мастер и Маргарита»? Сюжетное развитие, безусловно, доведено до полного завершения, о чем прежде всего свидетельствует тот факт, что окончание романа отмечено заранее оговоренной заключительной фразой. Да и эпилог, в котором перед нами проходят все герои романа, выглядит типичным заключительным шествием-апофеозом (ср. аналогичное заключение романа Томаса Манна). С другой стороны, известно, что Булгаков продолжал работу над романом до самой смерти. Отдельные мелкие стилистические погрешности и сюжетные неувязки второй части¹ указывают как будто на отсутствие окончательной белой правки.

Но главное — вторая часть романа, с точки зрения мотивной структуры, оказалась гораздо беднее первой. Значительные куски оказываются почти без мотивных связей с другими точками текста, как например весь полет Маргариты перед балом. Некоторым линиям, при поверхностной очевидности их смысла, не хватает мотивной разработки, многообразного переплетения с другими линиями, которое так характерно для романа в целом. Таков, пожалуй, мотив, связанный с собакой Пилата. В первой части романа мы не встречаем ни одной сколько-нибудь заметной детали, которая не включалась бы многообразными связями в общую мотивную структуру. Можно довольно

жара Москвы оказывается не связанной с героями Толстого, даже Мефистофель-Демон не отсылается к Лермонтову. Эта избирательность несомненно характеризует определенным образом художественный мир Булгакова.

¹ Наиболее значительное из последних: смерть Маргариты инсценируется Азazelо в ее доме на Арбате, смерть Мастера — в комнате № 118 в клинике, то есть тем самым как бы аннулируются все события, связанные с превращением Маргариты в ведьму и участием в бале Сатаны, а уход в приют после смерти оказывается чисто духовным, без участия телесной оболочки; но в эпилоге фигурирует записка, оставленная Маргаритой мужу, и говорится о таинственном исчезновении Мастера. Судьба Наташи в связи с этим также «повисает» в воздухе.

точно указать границу, начиная с которой мотивная структура становится заметной менее плотной: конец 1-й части, а именно глава 17-я «Беспокойный день», где проделки Коровьева и кота в значительной степени строятся в виде нанизываемых эпизодов, не скрепляемых мотивными проведениями (ср. аналогичное построение картин полета Маргариты, ряда сцен бала и др.). В дальнейшем мотивная насыщенность первых 16 глав в полной мере возвращается лишь в эпилоге¹. Характерна в этой связи и относительная «бедность» образа Маргариты и некоторых других, преимущественно связанных со второй частью тем.

Таким образом, исследование мотивной структуры позволяет с большой уверенностью говорить о незаконченности романа, причем незаконченности именно его второй, «позитивной» части. Параллель с «Мертвыми душами» довольно очевидна, и многократно повторенный мотив сожженной рукописи скрепляет эту параллель в тексте самого романа. Более того, роман Мастера, несмотря на то, что он как будто закончен и несет в себе внешний сигнал окончания — все ту же заранее оговоренную фразу, — объявляется затем Воландом незаконченным — и незаконченным именно в позитивной части, то есть не включившим в себя прощение Пилата, искупление и примирение. Тем самым данная фраза дезавуируется и как сигнал окончания всего повествования в целом.

В связи с этим возникает вопрос — является ли незаконченность «Мастера и Маргариты» чисто «биографическим» фактом, связанным с преждевременной смертью писателя, или же ли те-

ратурным фактом — результатом некоего (не обязательно осознанного) намерения? Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным — так же как и в отношении «Мертвых душ». Заметим лишь, что открытость, незамкнутость структуры несомненно хорошо согласуется с жанром романа-мифа. Неопределенность границ мифа, его готовность проецироваться во все новые, все более отдаленные и все менее ясно очерченные сферы, его пророческая интонация, быть может, рельефнее выступают в сочетании с впечатлением некоторой незавершенности, и последняя тем самым оказывается необходимой для конституирования художественного целого. Интересно в этой связи напомнить, помимо незавершенности «Мертвых душ», о несколько «скомканном», как бы скороговоркой произнесенном расставании с героем и во второй части «Фауста», и в «Евгении Онегине», то есть все в тех же ключевых для романа Булгакова текстах.

Итак, незавершенность романа Булгакова, отмеченная в тексте как рядом негативных факторов (наличием разрывов в мотивной структуре), так и позитивно (дезавуированием последней фразы как концовки), скрепляет его связь с «Мертвыми душами» и придает как повествованию о Пилате, так и всему произведению в целом характер проекции «Мертвых душ», а также проводит соединительную линию между автором «Мертвых душ» и Мастером, а также самим Булгаковым. Насколько органично чувствовал себя Булгаков в этой роли, свидетельствует фраза из письма к Советскому правительству: «Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками бросал в печку черновик романа о Дьяволе, черновик комедии и начала второго романа «Театр». В этой фразе примечательно многое: и апокалиптическая интонация, и сопоставление «прошлого, настоящего и будущего», но в особенности то, что судьба романа Булгакова здесь предвещает судьбу романа Мастера, так же как впоследствии незаконченность

¹ Уже после того, как была написана эта работа, мы получили возможность ознакомиться с материалами биографии Булгакова в публикации М. Чудаковой [М. О. Чудакова. Творческая история романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». «Вопросы литературы», 1976, № 1], в которых было засвидетельствовано, в частности, что последняя правка романа, сопровождавшаяся значительными вставками, была прекращена писателем в начале 1940 г. на 19-й главе [сцене похорон Берлиоза]. Таким образом, биографические данные почти точно совпали с предположением, высказанным на основании имманентного анализа мотивной структуры текста.

¹ Напомним, что в этой уничтоженной первой редакции романа образ Мастера вообще не фигурировал — он появился только в 1932 г.

романа Мастера будет служить сигналом незавершенности «Мастера и Маргариты». Сама жизнь автора становится одной из граней мифа и теряет свою дискретность по отношению как к самим элементам написанного им текста, так и к их внетекстовым (цитатным) проекциям¹.

Кстати, сама употребленная Булгаковым формулировка («роман о Дьяволе»), помимо указания на характер первой редакции, может рассматриваться и как еще одна отсылка к «Мертвым душам» — произведению, которому отнюдь не чужда пародийно-«фаустианская» интонация: ср. тему т а й н о г о д о г о в о р а , о х о т ы з а д у ш а м и , и мотив колонизации новых земель (заселения их мнимыми «душами»). Заметим, что эти черты произведения Гоголя как бы а к т у а л и з и р у ю т с я и отчетливо проступают в сопоставлении с романом Булгакова, что делает вероятным ориентацию последнего (быть может, подсознательную) на данные черты.

Для сопоставления с «Мертвыми душами» интересно также, что сон Маргариты имеет ясные черты гоголевского пейзажа (ср. гл. XI «Мертвых душ»). Здесь важно отметить также подчеркнуто русский характер этого пейзажа в сопоставлении с нерусскими приметами его коррелята — «приюта» (венецианское окно, виноград, Шуберт):

«Приснилась неизвестная Маргарите местность — безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские полугодые деревья, одинокая осина, а далее, — меж деревьев, за каким-то огородом, — бревенчатое здание (. . .)»

Ср. у Гоголя:

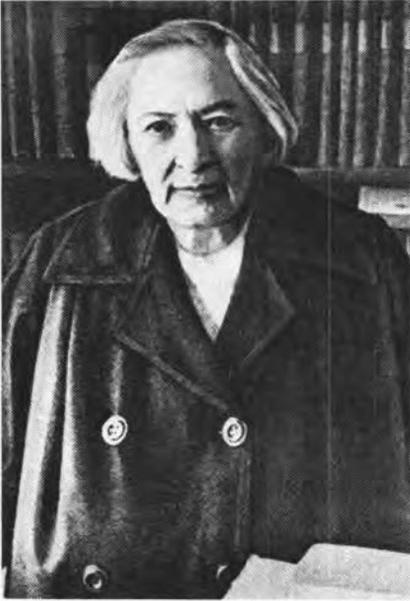
«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприятно в тебе (. . .) Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, не приметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит, не очарует взора».

Наконец, амбивалентный по смыслу финал «Мастера и Маргариты», где после комического «свидания» Ивана Николаевича с Николаем Ивановичем возникает образ лунной дороги, по которой уходят — куда? — Мастер и Маргарита, явно сопоставляется с концовкой первой части «Мертвых душ» — притчей о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче и затем — столь же двусмысленно-пророческой картиной дороги, по которой тройка уносит Чичикова.

Во всех этих соответствиях не только выявляется еще один «модус» романа «Мастер и Маргарита» как проекция «Мертвых душ», с вовлечением тем самым в его структуру и темы мертвых душ, и пророчества о будущем России, и даже «прекрасного далека», из которого кажется, что весь этот мир художнику «только снился», — но и сама жизнь, сама судьба авторов этих двух произведений оказывается вовлеченной в сложные сопоставления, становясь частью общей мифологической структуры и дополнительно внося незамкнуто-пророческие черты в изображаемый мир. Эта незавершенность пророчества и его исполнения хорошо соответствует и прототипу горящего романа Мастера, и общим свойствам романа «Мастер и Маргарита», анализу которых было посвящено настоящее исследование.

1975—1977 гг.

¹ Тема сожжения рукописи в ее автобиографических связях и в то же время в мифологической проекции возникла для Булгакова, по-видимому, еще в 1921 году, в связи с уничтожением им рукописей нескольких ранних песен. Вот как был описан этот эпизод несколько позднее [в 1923 г.] в «Записках на манжетах»: «Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь . . . от людей скрыть. Но от самого себя — никогда!» (см. о данном эпизоде: М. О. Чудакова. К творческой биографии М. Булгакова, 1916—1923 [по материалам архива писателя], «Вопросы литературы», 1973, № 7, стр. 240—241). Отсюда уже ясно протягивается нить к сожжению романа Мастера и одновременному знаменитому афоризму — «рукописи не горят».



Для меня, как и для многих людей моего поколения, Л. Гинзбург — замечательный исследователь русской и мировой литературы, писатель-эссеист, живой классик. Ее книга «О лирике» много дала мне как поэту. Вместе с автором мы переходим не от одного поэта к другому, а от одной поэтической системы к другой и видим приобретения и утраты. Таким же, если еще не более значительным событием стали и последующие книги Л. Гинзбург («О психологической прозе», «О литературном герое», «О старом и новом», «Литература в поисках реальности»). Это не сухое академическое литературоведение, это прежде всего литература, обладающая свойствами художественной прозы. Только действует в ней не литературный персонаж, а исследовательская мысль. Может быть, Л. Гинзбург поэтому так сильно и ярко пишет о стихах и прозе, что она знает, как пишутся стихи и проза, потому что всю жизнь она была дружна или знакома с прекрасными поэтами: в ее записях и воспоминаниях возникают блестящие психологические портреты Ахматовой, Заболоцкого, Маяковского, Мандельштама... Она запечатлела и осмыслила огромные куски нашей жизни, несколько исторических эпох, была, как сказал бы Тютчев, «собеседником» и «высоких зрелищ зрителем».

Присуждение Лидии Гинзбург Государственной премии — событие столь же отрадное, как и знаменательное, как и многое другое, о чем невозможно было мечтать еще несколько лет назад.

Нам, приученным жить и считаться с подменным, во многом фальсифицированным литературным процессом, радостно сознавать, что наконец-то мы дожили до торжества подлинных ценностей, созданных нашими лучшими современниками.

«Почему великих писателей так часто не понимали современники и понимали потомки? — спрашивает Л. Гинзбург в одной из своих работ. — Судьба писателя во многом зависит от соотношения его творческого временного ритма с ритмом исторического сознания читателей. Настоящий писатель всегда современен, но он может быть современным в очень разных ритмических категориях... Чем шире исторический охват, тем меньше возможностей, что произведение окажется сразу же актуальным, ибо временные ритмы не совпадут».

Хочется верить, что сегодня «временные ритмы» совпали, что 86-летний автор, выразивший не только «злободневное», «сезонное», но и «поднявший проблематику века», услышан и прочитан его современниками, тем более он будет принят и понят потомками.

Александр КУШНЕР

МАНДЕЛЬШТАМ И ПАСТЕРНАК В ЧИТАТЕЛЬСКОМ ВОСПРИЯТИИ 20-х ГОДОВ

Речь здесь пойдет непосредственно о той среде, о которой я могу говорить по личным воспоминаниям, к которой я сама принадлежала. А именно о молодежи, группировавшейся вокруг Института истории искусств — одного из центров культурной жизни Ленинграда 1920-х годов. Среда эта — одно из характерных явлений противоречивого времени. Все мы были ценителями и страстными любителями стихов — от Державина и Батюшкова до Олейникова. Стихи для нас были не очередным чтением, но особой реальностью сознания. В сознании они всегда были наготове и по любому поводу поднимались на поверхность реминисценциями, цитатами. По ним мы сверяли свой душевный опыт.

Наше поколение успело уже пройти через ряд увлечений. Первое увлечение — Блок. Его значение было поистине экзистенциальным, жизнеоткрывающим. Потом Маяковский. Помню, как я осваивала «Облако в штанах»; твердила наизусть, вероятно, неделю, не отрываясь, не отвлекаясь. Диапазон увлечений был широк, и с Маяковским уживался Кузмин. Особенно «Сети», которые в 29-м году потеснила «Фореель разбивает лед».

Замечу, что мы совсем не знали Цветаеву, хотя до эмиграции она уже успе-

ла издать несколько книг. Только году в 27-м я впервые прочитала «Поэму конца» (в машинописном виде). Это было сильное впечатление.

К середине 20-х годов определилось, что сейчас главное — Пастернак и Мандельштам. «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», «Tristia» и потом сборник 1928 года с разделом «Стихи 1921—1925 годов».

Началось с Пастернака; несколько позднее пришел Мандельштам. Этот читательский ход был типичен. Помню свой разговор с К. И. Чуковским. Он расспрашивал меня как-то об очередных литературных пристрастиях в Институте истории искусств. Я сказала: «Мы все увлекались Пастернаком, но . . .» — «. . . но перешли на Мандельштама», — не дал мне договорить Корней Иванович.

Есть такое явление: парное восприятие писателей. Причем это пары оппозиции: Толстой и Достоевский, Ахматова и Цветаева. Пастернак и Мандельштам предстали нам не оппозицией, а подобием. Это требующий объяснения исторический парадокс восприятия. Парадокс потому, что Пастернак и Мандельштам поэты разные и разного корня. Пастернак вышел из футуристической «Центрифуги» (этому предшествовало очень раннее увлече-

ние символизмом), ушел от нее далеко, но сохранил футуристический принцип: любые слова в любых сочетаниях. У Мандельштама символистские истоки — Вячеслав Иванов, Сологуб, Анненский, Кузмин. Материалом клубящихся метафор молодого Пастернака служат неотобранные бытовые слова, спотыкающаяся разговорная речь. У Мандельштама периода «Тристия» избранные слова (выражение Пушкина) эллинского стиля, поиски красоты.

Почему мы все же воспринимали Пастернака и Мандельштама как поэтов одного плана?

Прежде всего в «Tristia» классичность Мандельштама вовсе не предполагала гармонию. Еще В. М. Жирмунский в посвященной «Tristia» статье 1921 года писал о таящихся за этой классичностью «метафорических полетах» Мандельштама. В наше время семантика Мандельштама подробно исследована в работах Ю. Левина, К. Тарановского, Д. Сегала, И. Семенко, Г. Левинтона, Бориса Гаспарова, Омри Ронена, Е. Тоддеса, В. Топорова, во многих других работах. В эти вопросы я здесь не буду вдаваться; но ограничусь проблемой сближавшей Мандельштама и Пастернака новой логики построения стихотворения.

Е. В. Невзглядова поставила вопрос об историческом изменении логики стиха. XX век разрушил в ней явные логические связи, последовательность, повествовательность развертывания темы, характерную для лирики XIX века («Повод и сюжет в лирическом стихотворении»¹).

Даже у самых сложных поэтов XIX века, у позднего Баратынского, у Тютчева имеется повествовательная логика, некий рационалистический каркас стихотворения, иногда глубоко скрытый. Б. В. Томашевский даже усматривал в структуре лирического стихотворения подобие силлогизма: «... Лирическое развертывание темы напоминает диалектику теоретического рассуждения... Типично трехчастное построение лирических стихотворений, где в первой части дается тема, во второй она или развивается путем боковых мотивов или оттеняется путем противопоставления, третья же часть дает как

бы эмоциональное заключение в форме сентенции или сравнения».

Рационалистический каркас можно обнаружить и у романтиков, и даже у символистов — у Брюсова он просматривается особенно отчетливо. Дальше всех отошел от этого принципа Анненский с его поэтикой сцеплений. Сцепление для Анненского важное теоретическое понятие. Но и сквозь сцепления Анненского, сквозь его «недосказки» проступает притаившаяся логическая связь мотивов.

Безговорочно новую логику стиха принесли — по-разному — именно Пастернак и Мандельштам.

Пастернак, конечно, метафорический поэт, но, по верному определению Романа Якобсона, он по сути своей метонимичен. Лирическое «я» метонимически рассыпано в несущемся во весь опор пастернаковском мире предметов и понятий. Тематический каркас исчезает в этом вихреверчении. Не развертывание, а непрерывная смена конфигураций, как в калейдоскопе.

У Мандельштама новая логика стиха порождена небывалой энергией контекста. В поэзии первых десятилетий XIX века существовали еще заранее данные стилистические пласты, предназначенные для всеобщего употребления. Из них в отдельное стихотворение слово приходило уже с определенной лексической окраской. Чем дальше, тем большее значение приобретает индивидуальный контекст, внутренние связи отдельного стихотворения.

В поэзии Мандельштама контекст достигает предельного напряжения. И это уже не только внутренние связи. Это контекст всего творчества, в котором стихи, проза, статьи объясняют и отражают друг друга. И еще шире — это контекст других поэтов, поэзии вообще. Безграничность ассоциаций. Контекстуальность и ассоциативность культуры. Отсюда ключевые слова, сквозные мотивы, реминисценции, цитаты, намеки, которыми переполнены стихи Мандельштама.

Решающим для поэтики Мандельштама является изменение значений, вызванное их пребыванием в тугом контексте произведения; там они заражают друг друга на расстоянии, синтаксически даже не соприкасаясь. Такой текст — синхронное единство, в котором синтаксическое развертывание мотивов уступает место парадигме сцепления. Поэтические смыслы, мотивы

¹ «Вопросы литературы», 1987, № 5, с. 138—141.

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1950—1980-х ГОДОВ

В компании художников, как известно, говорят о филармонии, а в компании архитекторов — о балете. Ал. Ал. Смирнов интересуется только шахматами и музыкой, Эйхенбаум изучает теорию музыки и коллекционирует пластинки. Томашевский, завидя гостя, бросается к проигрывателю. Я могу прочитать добровольно книгу по любой доступной мне отрасли знания, но литературоведческие произведения читаю только в случаях крайней необходимости.

Так случилось, что какая-то часть моей библиотеки отразила не лучшее в моей жизни (как у подлинных книголюбов), но худшее. Составилась она поздно, довольно быстро, с целями практическими и для порядка (как у людей). Среди прочих опытов — были и такие.

Есть две-три полки, которые я ненавижу. Там, спрессовавшись нетронутыми гладкими корешками, стоят страшные книги — колья, забитые в гроб блистательной и трудолюбивой советской истории литературы.

Приобретают эти книги для профессионального употребления, но их не употребляют. Их не употребляют, но они стоят. Если бы очистили полки, снести это все к букинисту... Но книги стоят, потому что профессионал должен иметь библиотеку, как у людей; потому что может понадобиться справка... Хотя справляться в них решительно не о чем.

И оттого, что они стоят, — при всей своей ненужности, — они стали обидой, напоминанием всех крушений. Они свидетельствуют о случайном и принудительном, о неизбирательности вещей и поступков, а может быть, и людей, о времени, которое шло, не оставляя следа, о прожитом, которое не поддается памяти.

Человек — раб лукавый и ленивый, в особенности ленивый. Для виду он ропщет, на самом же деле его устраивает принудительная праздность духа. Только никогда не писавшие думают, что писать приятно. Тут же не подкупаешься: у меня нет времени думать,

потому что я расставляю запятые в чужих сочинениях (очень классических).

Книги-паразиты, книги-враги — это кое-что объясняет в психике литературоведов, играющих в шахматы, коллекционирующих пластинки, говорящих о чем угодно — только не об этом.

Профессионал, если не всегда сознает, то всегда ощущает несуществование сферы, в которой работает, фиктивность принадлежащих ей понятий. Это безошибочно. Но это еще не все. Несуществующая сфера — это вместе с тем область ведомственной скуки и склоки, погибших замыслов и неувядаемых обид; это место, где он врал и унижался, где он предавал, где его предавали, где стыдно. Неужели же и в неслабое время еще думать, еще толковать об этом... *La toile! La toile!** — как говаривал Герцен.

Когда у человека нет работы и он сидит один в тиши и одновременно в шуме коммунальной квартиры и ждет, как развлеченья, телефонного звонка, — ему непонятно, как люди, которые ему нужны, не находят для него двадцати минут времени. Между тем при определенной системе существования эти двадцать минут действительно трудно найти; особенно, когда их требуют многие. Каждый в известных обстоятельствах (так называемых благоприятных) сразу же превращается в человека без времени, и ему уже до злости непонятны люди, пытающиеся располагать этим его отсутствующим временем.

Нехорошо, например, что известный писатель, продержав рукопись полгода, вернул ее непрочитанной, — вместо того, чтобы снять трубку и сказать: «Признаюсь, открыл ее нехотя и — зачитался, просто зачитался...» Что к другому знаменитому писателю (он мог бы помочь) без серьезного блата

* Занавес! Занавес! (франц.).

невозможно прорваться на дачу, где он воспитывает собак и выращивает тюльпаны. Нехорошо. Но происходит все это, помимо других причин (включая невежливость), от того, что им неинтересно. Но написавшему трудно-проходимую рукопись остальное тоже неинтересно.

Литературоведы наших дней иногда интересуются своей работой, чужой же никогда. Читают по специальности — для ловли ошибок, для присвоения чужих мыслей или для отыскыванья своих, для цитат или для вузовских лекций, читают мало и медленно. Думают же об этом, пока пишут, и не думают и не говорят в остальное время (в наши студенческие годы в Институте истории искусств об этом говорили денно и нощно). Оно, как служба, которая каждый вечер до следующего служебного дня вылетает из головы. Вот международным положением литературоведы интересуются, потому что это действительно касается всех. Я тоже не хочу читать литературоведческие книги. Плохие вызывают скуку, хорошие — могли бы вызвать зависть... Но для зависти не хватает заинтересованности.

М. Г. говорит — литературоведение потеряло ключ к духовной жизни человека. В 20—30-х годах оно еще владело ключом. В 30-х годах, перед войной, нам казалось еще — мы будем долго идти вперед, по прямой. На самом же деле — как всегда в истории культуры — это была волна, и с гребня волны мы уже валились вниз, в ничто. Волна теоретической и историко-литературной мысли поднялась из недр большой литературы. Ждать новой такой волны нам, быть может, уже не по возрасту.

Долго еще казалось, что нам просто мешают, что только бы отделаться от заградительного издательского механизма... Когда туман рассеялся, выяснилось, что мешать уже нечему и — хуже всего — некому (разве что трем-четырем задержавшимся).

Самые же стоящие молодые ушли в другие области.

Мы решаем проблему. Например, декабристы — просветители или романтики? В сороковых годах мне казалось это существенным. Со злым нетерпением мы переживаем издательские проволочки. Проходят годы (многие), работа выходит в свет. И оказывается тогда, что нет уже ни одного человека, для которого проблема была

бы проблемой, что поэтому никто не заметил ее решения.

Охотно или неохотно, но специалисты все же следят за выходящей специальной литературой. Но трудно себе представить, чтобы кто-нибудь, кроме оплачиваемых редакторов и рецензентов, прочитал в наши дни историко-литературную рукопись. У любого специалиста — бегающие глаза, едва только в разговоре забрезжит опасность, что отверженный автор вдруг скажет: а не прочитать ли вам мою рукопись... Они все искренне верят, что это интересно, но у них огорченные, бегающие глаза; у них защитный рефлекс против попытки занять их время необязательным, неслужебным делом. Вышедшая книга — это ведь для специалиста дело служебное; он должен ее прочитать, если не прочитать, то купить и перелистать, если не перелистать, то почитать. У отверженного автора на их месте тоже были бы бегающие глаза и потребность самозащиты.

В 1945—1946 годах после войны и блокады возвращение к исследовательскому труду проникнуто было энергией, чувством вновь дарованной жизни. Незаинтересованность приходила потом, разными путями. В том числе путем испуга. Оказалось, что историко-литературные соображения могут стать ценой хлеба и крови. Величайший интерес приобрели тогда обусловившие эту возможность закономерности; но сами концепции потеряли значение.

NN рассказывал историю печатанья или непечатанья своей книги. Он вспоминал свои просительные интонации (эти произвольные модуляции голоса — он их помнит ясно, до омерзения), скучные лица и бегающие глаза собеседников, их защитные и закруженно-отталкивающие жесты, их заградительных жен, по телефону выясняющих возможность не подпустить просителя... Хотя проситель добрый знакомый.

Книга — пять лет безвыходных оскорблений. Чтобы жить, нужно было не то что не понимать свое положение (невозможное дело!), но придерживать это понимание в одном каком-то участке сознания, чтобы оно не разлилось и не загрязнило все вокруг. Это было самосохранением, жизненно необходимым, поскольку и все дальнейшее должно было состоять из оскорблений. Сейчас это уже не обязательно, —

именно потому обида поднялась на поверхность (можно теперь позволить себе эту чувствительность). Когда он звонит такому-то, и тот говорит, что не может сейчас лично увидаться, потому что у него затянулся ремонт, а потом он уезжает в командировку; когда он звонит другому, и тот просит позвонить еще через несколько дней, потому что он только что вернулся с дачи, — то все это нормально, вполне в рамках; но от звонка к звонку растет тоска — еще раз . . .

Перед каждым звонком, перед каждым заходом в издательство — до физической боли дошедшее чувство угнетенности и страха. И, оказывается, это не страх событий (очередной подметной рецензии или расторжения договора), страх событий был прежде, и это прошло, и уже не повторится с прежней силой. Теперь человек боится не решений, не последствий, а самого процесса унижения.

В те годы, когда людей вызывали и требовали от них предательства и за отказ от предательства угрожали уничтожением, — бывало так, что воображение с ужасом обращалось не к предстоящей гибели, но к предвещающему ее, сопровождающему — к оскорблениям или к тесноте, духоте пересыльного вагона.

Какая-то здесь темная аналогия с тем, что человек боится уже не уничтожения книги, в которую вложены время, ум, труд, — но боится своих интонаций и скользящих жестов члена Редакционного совета.

Опять собрание в Союзе с докладом о языке художественной прозы. Докладчик и участники прений, гордясь собой, утверждают: язык художественный — это не то же самое, что язык нехудожественный; у писателя должна быть индивидуальность; редактор не должен вписывать в чужую рукопись все, что ему вздумается.

Когда расходились, К., показывая, что знает цену подобным наивностям, сказал: «От этого сотрясения воздуха лучше писать не будут». Еще бы! Разумеется, от разговоров о языке художественной прозы книги не станут лучше, но люди станут лучше, хоть немного. Следовательно, в дальнейшем могут стать лучше и книги.

Они пришли сюда не для того, чтобы рвать сочеловеков зубами. Они пришли

не для того и потому чувствуют себя хорошими. Они пришли, чтобы поговорить о том-то и том-то; не для того, чтобы кого-нибудь славить или топтать, или осуществлять еще иные внеположные задачи, при полном равнодушии к судьбе и смыслу вещей, о которых идет речь. Заинтересованность в вещи как таковой распрямляет дыхание. Что-то есть в этом от первичного узнавания мира.

Стоит кто-то на кафедре и говорит о том, какие замечательные неологизмы встречаются у классиков. И в качестве замечательного неологизма приводит чеховское: дьячок оконечел от наслаждения.

И вид у говорящего этот вздор почти счастливый, как у человека, который раскрыл глаза и увидел вещь, реальность. Выздоровливающий учится говорить и ходить. И первые шаги и первое «папа-мама» лысеющего мужчины радостны ему и окружающим.

1956

На предсъездовском собрании писателей в Ленинграде замечателен был редактор N во время речи Матвеева. Герман Матвеев кричал, что надо уничтожить литературных чиновников, что от них все качества . . . грозил огнем и мечом. Реакция N была неожиданной — он хихикал, ерзал на стуле, шептал на ухо соседу, в самых крепких местах кивал в такт головой: здорово же он их . . . этот Матвеев! Он был страшно доволен.

Что за странность! Казалось бы разговор о чиновниках и их вредности — смерть для N, конец.

А дело все в том, что N если не по должности, то по натуре бедный чиновник. Речь же шла о чиновниках министерских, реперткомовских, главполиграфиздатских, всю жизнь больно его пинавших. А теперь пнули господ, публично, безнаказанно. И над господами можно хихикать, особенно сидя на хорах, где довольно темно. И он испытывает непосредственную, физиологическую радость мимолетного освобождения.

О том, что может из этого выйти для него лично, он не думает, не по легкомыслию, но потому, что его инстинкт, нюх твердит ему, что вообще из этого ничего не выйдет, что это только приятно возбуждающие слова.

1955

Р. С. Когда, лет через пять, его все же сняли, он резонно сказал про своего преемника: «Не понимаю... И чем он лучше меня?»

При Николае I (особенно в пору «мрачного семилетия») люди правительственного аппарата подразделялись на мерзавцев, полумерзавцев и полупорядочных. Мерзавцы помощью мракобесия продвигались выше и душили также и по собственной инициативе. Полумерзавцы мракобесием удерживались на своих местах и душили по приказанию. Полупорядочные от полумерзавцев отличались тем, что приказать им можно было почти все, но не все без исключения. Для некоторых надобностей их не употребляли. Что же делали порядочные? — они не принимали участия. У них были имения, и они имели эту возможность.

ВЕРНУВШИЕСЯ...

Все они, особенно мужчины, рассказывают об этом приглушенно и как-то со стороны. Как будто цель их рассказа сообщить слушающим страшную и объективно-интересную историю. Жалобы, негодование прозвучали бы неожиданно, ненужно. Самую же суть этой манеры составляет отсутствие удивления, совершенное отсутствие удивления. Удивление перед лицом общественного зла было детищем XIX века. Они же рассказывают о том, чего и следовало ожидать от двадцатого. Закономерности всем известны, а вот вам еще характерный случай; случай этот — я. В прошлом веке так рассказывали (если верить литературе) русские дворяне о судьбах своих и своих собратьев. Они знали цену поведению господ, но у них не хватало душевной силы, чтобы удивиться.

Говорят, Z, когда его исключали, вместо того чтобы выкручиваться, вдруг сказал приблизительно следующее: тогда было такое время. На меня могли донести. Я решил — лучше, если я сам буду доносить на всех.

Это заявление доконало его (по-видимому, он не только прикидывается, но отчасти действительно сумасшедший). Оно бросило страшный отблеск на прошедшую жизнь присутство-

вавших и поэтому возбудило ожесточение.

1956

NN: Многие говорят — им хотелось бы, чтоб вернулись самые молодые годы, студенческие. А я ни за что не хотела бы еще раз прожить молодость. Такую, как моя... Тупую... в полном непонимании всего.

NN — около тридцати лет.

У классиков были всякие конфликты, но они ничего не знали про коммунальную квартиру в качестве возможной творческой площадки.

В коммунальной же квартире, если только рассредоточиться, — все оказывается важным и в высшей степени действительным. В коммунальных ссорах именно все действительно и все совершенно правы. Я даже думаю, что скандалов необоснованных почти не бывает. Соседи в самом деле поставили под дверь соседей корзину с грязным бельем, не дают проветривать кухню или, напротив того, устраивают сквозняки, не гасят свет в коридоре (а мы за них платим), в самом деле сдвинули кастрюльку, заняли конфорку, не закрыли мусорное ведро. Это все ведь человеческие обиды, из высокомерного далека дач и собственных квартир называемые склоками.

В коммунальных квартирах примирения растлевают больше, чем ссоры; люди мирно общаются после всего, что они сказали друг другу, после всех видов, в которых друг друга видели.

Эренбург в одном из своих романов с мягким юмором изобразил, как жители жизнерадостной коммунальной квартиры по утрам занимают очередь в уборную. Сублимировать внутриквартирные очереди в уборную, вообще вещи, озлобившие, унижившие поколения самых разных людей, — может только писатель, отрешенный от жизни. Ильф и Петров не сюсюкали над Вороньей слободкой.

НЕНАПЕЧАТАННЫЙ ПОЭТ

Внешне П. один из самых нереализовавшихся, из занимающихся не своим главным делом. А по сути — он вполне

поэт. Он живет как поэт. Он сделал, вероятно, все, что мог. У него сборники, отдельными стопками, с заглавиеми, у него — периоды. И стихи у него ведут свое сложное непечатное существование. Нет, он не лукавый раб, под разными, внешними и внутренними, предложениями уклоняющийся от работы.

Горько скрывать сделанное, не горше ли скрывать свою человеческую цену. Знают способного критика (критик с идеями и наблюдениями), нервного, пьющего человека, со склонностью к состоянию испуга (в общественной жизни). Никто не знает поэта, с одержимостью, с идеалом красоты (он называет ее простотой) и правды.

Это мандельштамовский тип поэта (в другом масштабе, конечно). Мужество, неподкупность, терпеливый труд, высокий строй нравственных требований — все ушло в писательское дело, поглотилось, оставив от человека небрежно сработанную оболочку — неряшливое поведение, случайные поступки. Пока не требует . . .

Д. Максимов как-то добывался, как я думаю — было ли в Мандельштаме чувство человека, соседа? Было ли в нем то самое, что есть, скажем, в стихах про Александра Герцевича (Максимов сомневался). Я отвечаю: да, потому что поэт (настоящий) не может написать о том, чего в нем нет. В искусстве ложь распыляется прахом. Раз написал — значит, было. Но как было, где, в каком участке сознания, как отослосило к его эмпирическому поведению — это другой вопрос.

Я говорю — все ушло в поэтическую мысль. Но поэтическая мысль — шире написанных стихов. Для поэта — это само переживание жизни, непрерывная ткань восприятий и реакций.

Когда П. не боится, не озирается, особенно когда несколько пьян (не слишком) — все вдруг в нем становится прозрачно. Из него бьет та самая речевая стихия, из которой рождаются его стихи. (Мандельштам говорил точно так же, как писал стихи, — только что не в рифму.) Так что ясна необходимость этому человеку быть поэтом; даже если вы считаете, что поэтом сейчас быть странно, неловко и, в особенности, ненужно.

На этом градусе возбуждения мысли он необыкновенно говорит о стихах и прозе. Он ничего почти не объясняет, а просто рассказывает, жадко ошупывая маленькими, цепкими руками дра-

гоценную ткань слов, он роется в них, зарывается. Он рассказывает о том, как поутру просыпается Лукашка, как Марьянка с Устинькой лежат под телегой, как Раскольников после ночи убийства идет по точно обозначенным улицам Петербурга, — и вас захватывает физически конкретное, трудное переживание творческого акта. Как бессильно по сравнению с этим все, что он может сказать о писателе в своих критических и прочих статьях. Маленький, круглоголовый, в недавно сшитом мундштальном костюме он слегка покачивается, ежится, шевелит руками, отражая биение какого-то корявого ритма.

И шестикр-р-ры-ылый серафим
На перепутьи мне явился, —

читает он страстно, раскачиваясь и растягивая звуки.

О большом деле его жизни не знает, по крайней мере не знал до сих пор, никто, кроме нескольких человек. Утешала же его атрофия поэзии. Это была выключенная область, довольно спокойная, с условными разговорами в печати, которые он сам вел, получая за это гонорары. Вдруг стало тревожно.

— Что вы думаете о Борисе Слуцком?

И сразу его прорвало. Борис Слуцкий очень талантливый, он замечательно строит стихи, очень крепко. Но он рационалист. Поэтому у него фабула никогда не прерывается, а фабула должна прерываться. Он рационалист. «Я это заметил — как завистливый сосед».

Слово сказано. Это зависть. Это зависть талантливых, которые если завидуют, то завидуют таланту. То есть они могут завидовать и машинам, и дачам, но всерьез, с болью и злобой, а порой с любовью, они завидуют только осуществленному познанию мира. Все можно вытерпеть — бедность и кляп во рту, безвестность и неудачи, но когда другой находит то самое нужное слово — это нестерпимо, хотя, быть может, и восхитительно.

— Я ему завидую, — говорит П., — я ему завидую, потому что он крепко строит. И я с ним непременно встречу и все ему скажу. С. с ним знаком; ему я нарочно прочитал мои стихи — ну, какие-то старые, новые я ведь почти никому не читаю. И он сказал, что это лучше. Слуцкий, он позволяет отрубать в стихотворении строфу. Если это настоящие стихи, то без одной строфы

это уже не те стихи. И это не те стихи, если в строфе убрать одно слово. Он позволяет. А я никогда не позволю. Зачем мне тогда это печатать? Я лучше статью напишу. Пожалуйста. И получу деньги. Я стихами не торгую. Нет.

— Вы читали Пастернака стихи в журнале? Я прочитал и увидел, что я могу сейчас лучше.

— О-о-о!

— Он сейчас не может. Раньше мог. И как еще! Я потому и примериваюсь. Не к пустякам же примериваться.

Какая боль долгие годы бродила под немотой и прорвалась раздраженным вниманием к товарищам по немоте, отверзающим уста.

РАЗГОВОРЫ О ЛЮБВИ

[условная запись подлинных признаний]

Разговор с N

— Ну, вы и добились развода и одиночества. Чего вам еще? Уже скучно?

— Одиночество . . . Нехорошо человеку быть одному . . . это так. Семья, как известно, — одна из форм разделения труда. Одному непосильно нести в себе содержание жизни, помнить все, что с ним происходит, отвечать за все, что его касается. Человеку необходимо знать, что есть какие-то области жизни — его собственной — в которых он имеет право не принимать решений. Пусть это будет меню завтрашнего обеда.

Вы хорошо знали Лялю. У нее были способности, разные. Притом она всегда делала плохо все, что делала. Удивительно плохо. Вместо интереса к делаемому, к вещам, заинтересованность в тех инородных целях, которым вещи могут служить, — вот сущность двух эпохальных явлений, халтуры и приспособленчества. Ну, это в скобках. Так вот — все бытовое для меня и вокруг меня делалось плохо или вовсе не делалось; но это было не так уж важно — считалось, что бытовым занимается кто-то другой, и важнее всего было то, что поэтому я тоже мог им не заниматься.

Постепенно мы оборвали все связи, какие только бывают, — бытовые, чувственные, умственные, даже связи привычки. Она потеряла мою любовь, и свою конечно, но власть сохранила и тогда. Потому что за моей злобой, за равнодушием — довольно искренним — она чуяла глубоко сидящую

слабость, скрытый узел не до конца истребленных ожиданий. Меня до ярости раздражало это наваждение неизвестно чего ожиданий от женщины, которая не нужна. Потом я понял . . . Одолевало меня бессмысленное ожидание, что кто-то — то есть она, больше никому — когда-нибудь что-то сделает за меня, возьмет на себя какую-то часть моей жизни. Что, может быть, можно будет хоть что-нибудь не решать; например, куда девать старое пальто, которое второй год без толку висит в передней.

Ненужная была нужнее всех, потому что только она была моим одиночеством, вернее иллюзией или, пожалуй, чистой абстракцией моего одиночества, то есть разделенной жизни.

Разговор с NN

— Чего ты хочешь? Того, что было?

— Нет. О нет. Как я могу хотеть того, что было? Я с содроганием вспоминаю . . .

— Или ты хочешь, чтоб это вернулось к тебе обновленным?

— Обновленным? . . . Запятнанное всеми уступками, непрощаемыми обидами, разговором про деньги, грубостью и ложью. Такое не возвращается.

— Зачем же ты мучаешься? Ты же все время сосредоточенно мучаешься. Не хочешь ли того, что могло бы быть?

— Не хочу. Потому что со мной, с таким — ничего быть не могло. Ничего другого.

— Так зачем же ты . . .

— Я хочу не невозможного. Подумаешь — невидаль. Все хотя и невозможного. Я хочу алогического. Хочу, чтобы именно она, но совсем другой была бы со мной, который был бы совсем другим. И этот алогизм мучает, как самая трезвая реальность.

Разговор с NNN

— Да, я действительно думаю, что в жизни типового интеллектуального человека нашего поколения имели место три типовые любви, три драмы. Теория эта, как все так сказать гуманитарные теории, — приближительна. Не законы, но только тенденции. Я сказал — нашего поколения . . . Мы — это те, кто тоже получил от детства вековую культуру любви и занес ее в век совсем других катаклизмов. Как оно

обстоит у следующих поколений — неясно; у них, кроме всего прочего, никогда уже не было свободного времени, что необходимо для культуры любви.

— Так три типовые драмы . . .

— Две из них имеют классическую формулу: первая любовь и последняя. Предлагаю ввести еще одно звено — вторая любовь.

— М-м-м. Почему именно вторая?

— Да нет. Не в том дело. Она может быть третьей или четвертой. Как, впрочем, и первая любовь далеко не всегда бывает первой. Это понятие качественное. Понятие жанра. Классическая первая любовь интеллектуального человека — великая, неразделенная, неосуществленная (она втайне не хочет осуществления). Никогда уж для нас в царстве любви не будет ничего пронзительнее молодой тоски, смертельнее первой боли; она должна смять еще нетронутую душу, и душа отчаянно сопротивляется. Чем крепче зуб, тем зубная боль нестерпимей. Потом придут наркозы усталости, гнилое терпение, гнилое прощение . . . А вторая любовь — это та, на которой человек отыгрывается. Она непременно должна быть счастливой, взаимной, реализованной. У Пруста это сделано очень точно: Жильберта и Альбертина — первая и вторая любовь. Настоящий человек понимает, что неразделенная любовь — это один раз красиво, а во второй раз — смешно. У Гейне, помни-

Glaub nicht das ich mich erschiesse,
Wie schlimm auch die Sachen stehn!
Das alles, meine Süsse,
Ist mir schon einmal geschehen*.

Вторая любовь — любовь человека, который хочет, чтоб его любили, и на меньшее не согласен.

— А дальше что?

— Дальше начиналась драма второй любви (она, впрочем, могла повторяться). Нет уже этой беспримесно прозрачной боли, но драма счастливой любви как-то гнетущее драмы — несчастной. Уже тем, что несчастье не входит в ее эстетику, в ее идеологическую программу. Совершается она в два приема. Сначала человек теряет

возлюбленную, потом он теряет любовь, меняя тоску на скуку.

— А если человек сначала теряет любовь? . . .

— Ну, тогда это не драма. По крайней мере не драма счастливой любви.

— А драма так уж обязательна?

— Почти что. Если только любовь не переходила в семью (там свои удачи и просчеты). Я говорю ведь о нас, о прошлом. Обязательность драмы была, вероятно, в том, что мы почему-то довольно долго сохраняли некий досуг. А досуг, породивший науку и искусство, порождает и душевные катастрофы — во всяком случае начиная с XVIII века.

— А как же третья типическая драма?

— Третья . . . Да минует нас эта любовь . . . Ну, та, которая и блаженство и безнадежность . . .

«Они собрались в молодежном кафе. Это было мероприятие, не предусмотренное никаким расписанием . . . Не могу сказать, чтобы все на этом вечере мне понравилось. Но мне понравилась сама затея, сама заинтересованность жить интересно, то есть жить интеллектуально . . . Необходимо противопоставить шалману, забегаловке культурный столик, необходимо противопоставить унылой танцплощадной давке человеческую непринужденность, необходимо противопоставить скуке «мероприятий» молодую заинтересованность». Так пишет «Литературная газета». В Ленинграде есть уже два молодежных кафе; там между столиками читают свои стихи молодые поэты. Но посетители, по-видимому, недовольны тем, что у поэтов утвержденная программа. Опять получается мероприятие. Раз-два послушают мероприятие и пойдут в пивную. Следовательно, чтобы кафе отвлекало от пивной, требуется свободное чтение (кафе Мон-мартра, Бродячая собака, Стоило Пегаса . . .), но чтобы чтение это не призывало, например, — назад в пивную! — требуется, чтобы свободное чтение было отрегулированным. И вот оказывается — создать фикцию литературы гораздо легче, нежели фикцию кабачка.

В СП мне случайно пришлось присутствовать при телефонном разговоре одного из прикосновенных к работе с молодыми писателями.

* Не думай, что я застрелюсь, как бы плохо ни обстояли дела. Все это, моя милая, со мной уже однажды случилось.

— А, да. Так мы вам направляем группу из литобъединения издательства. Да, им сказано, чтобы они все читали из своих книг. У них у всех представлены книги. Пусть и читают... Я? Нет, я приходиться не собирался. Я уже в прошлую субботу там маялся. Так же невозможно. Что же я в свой свободный вечер никогда не смогу в театр пойти. Даже в баню нельзя сходить (это шутка). Ну, может быть, я и зайду. Но пусть вообще не рассчитывают. У вас есть телефон Н. Вот вы с ним и свяжитесь. Мы ему это дело доверили. Он очень хорошо понимает. — Нет, я не понимаю... Чего вы хотите? Свободное чтение... Чтобы всякий, кто хочет, читал, что хочет?.. А... Ага... Кто же это возьмется проверять на месте? Вы все-таки поймите — обстановку. Там люди сидят, пьют вино... Как же это так на ходу? Нельзя в такой обстановке объясняться с поэтом. — Нет, вы поймите — мы серьезная литературная организация. Если к нам обратились, — мы подходим серьезно. Мы вам даем программу. Понятно? Даже цирк, возьмите даже цирк — чисто зрелищное предприятие — и у того есть программа. Не может быть, чтобы посреди представления вдруг зритель спрыгнул с галерки и показал фокус. Это в цирке... — Нет, мы вам даем программу. Им сказано читать из книг. Если что не входит в книги, — представить заранее. Хотя бы Н. Он прекрасно понимает... — Ну не знаю. В конце концов я не могу им запретить. — Но за такое дело кто же возьмется отвечать? — Какая это инстанция хочет — свободное чтение? — Ах так! Пусть они сами и отвечают. А мы серьезная литературная организация. Мы не можем. Вы понимаете, что это такое — каждый, с улицы выходит и читает, что хочет. Вы только представьте себе. Ведь есть графоманы. Есть сумасшедшие. Да, самые настоящие. И графоманы. Прочитать могут что-нибудь нехудожественное. Или вообще черт знает что... — И как же это — про свободное чтение будет на афишах написано? — Ну, все равно — это же разнесется по городу. Мигом. Вот и придут... Лучше подумать, не ввести ли там обсуждение стихов. — Вы даже не знаете, что пишут. Вот *.* нам принесла тридцать девять стихотворений. А потом сама согласилась, что готовых у нее четыре. А с остальными еще надо подумать. А принесла в литобъединение тридцать девять.

Ее же товарищи, очень так осторожно, чтоб не обидеть, ей объяснили, что непонятно, что она пишет. Просто непонятно. Это все так субъективно, что она теперь пишет. Уже только она сама себя понимает. И это — *.* , у которой есть уже книга... Именно. Так вот представьте, что вам принесут в кафе, на свободное чтение.

1962

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Маяковский

По случаю герценовского юбилея — торжественное заседание в Театре драмы. Излагает Иовчука, кандидат философских наук из университета. — Герцену люди воздвигли великолепный памятник, — говорит молодая преподавательница из герценовского института. Пауза. Что это еще за памятник? Где такой памятник? — успеаете вы подумать, прежде чем она четко заканчивает фразу: этот памятник — герценовский институт. Представитель заводской молодежи говорит о Герцене как предшественнике всего последовавшего. — Нет у нас ни одного молодого человека, который не читал бы его замечательные произведения: «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», «Былое и думы»... Последней выступает рослая, лет пятнадцати школьница из кружка литераторов Дворца пионеров. У нее на листочке написано, что клятва на Воробьевых горах нашим ребятам понятнее и ближе, нежели сверстникам Герцена.

Школьница в крахмальном белом переднике с пелериной, с белым полубантом-полунаколкой, в прическе — сделанной, может быть, даже у парикмахера, — с белым зубчатым рюшем на воротнике. Банты и рюши школьницы — не думайте, что это просто Марининская гимназия и «Задуманное слово»; это факт гораздо более эпохальный. Одна из улыбок сталинизма, еще не стертых временем.

— ... И, вдруг, обнявшись присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу...

В какой, должно быть, спешке мама гладила ей этот передник. Сбоку на

ЛАРОШФУКО

лоснящейся крахмальной поверхности — легкий шрам, плохо отглажено. Вероятно, она огорчилась и рассердилась и поссорилась с мамой и, может быть, даже заплакала, и не сомневалась в том, что все ее выступление и, главное, ее появление в президиуме совсем испорчены. Гладить же заново уже не было времени, потому что она ужасно опаздывала; хотя пришла, понятно, одной из первых.

Может быть, ничего такого и не было. Не пролились слезы на недоглаженный передник. Но если пролились, — то были самым человечественным (как говорил Герцен) явлением в системе этого юбилея.

1962

Конъюнктурное искусство ближе всего к классицизму — есть такое ходовое утверждение. Совершенно неверное. Классицизм (особенно XVIII века) — структура воспитательная, дидактическая, с заданными оценками и заранее известными выводами. Все так. Но притом классицизм обладал философскими предпосылками и выражал, с блистательной точностью, соответствующее общее сознание. Оды, которые восхваляли, не выражая мировоззрение, считались низкопробными шинельными стихами.

Эту же литературу создают люди, прошедшие опыт девятнадцатого века (оставим в стороне неграмотных и просто взыскующих легкого заработка). Невозможно полностью устранить воздействие этого опыта на психику. Разрыв между психикой и продукцией усугублен тем, что чтение русских классиков не возбраняется, даже поощряется.

Конъюнктурная литература уникальный социальный факт; изолированная система, включаясь в которую сразу начинают играть по ее правилам.

Помню свои разговоры с молодыми литераторами тридцатых годов. Меня поражало, что они в своем роде честны, хотя думают и пишут разные вещи. Это было двоемирие, и другой мир литературы обладал для них своими, заведомо другими не только эстетическими, но и социальными закономерностями.

У Ларошфуко терминология моралиста, но хватка психолога. В духе XVII века он оперирует неподвижными категориями добродетелей и пороков, но его динамическое понимание человека и страстей человека, в сущности, стирает эти рубрики. Ларошфуко отрицает и разлагает моральные понятия, которыми пользуется. Он стремится рассматривать пружины и мотивы поведения, подвергая сомнению результаты и готовые видимости. Ларошфуко выводит поведение из единого, основного мотива, называя его гордыней (*orgueil*). Нечто очень близкое к новейшей воле к могуществу. В одном из своих «предупреждений читателю» он подчеркивал: «... слово интерес не всегда означает интерес имущественный, но чаще всего интерес чести и славы...» Поэтому система Ларошфуко может объяснить не только низкие, но и высокие поступки. Она допускает моральную иерархию.

Эпиграф к «Максимам»: «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки» — можно бы заменить другим афоризмом: «Интересу, которому приписывают все наши преступления, часто принадлежит заслуга наших хороших поступков».

Ларошфуко понял сублимацию. В какой-то мере он рассматривает уже поведение человека как непрестанную идеологизацию влечений (интересов). Это выгодно отличает его от плоской мизантропии, которая ничего не понимает в человеке, потому что видит в нем одну шкурность и не видит сублимацию шкурности. На одной шкурности нельзя было бы создать ничего похожего на человеческое общество.

Сизая Нева медленно шевелится в своем граните. Легкий ветер над тяжелой водой. Безвозрастный ритм дыхания, шага и дыхания.

Бывают сейчас состояния, странно похожие на воспоминание юности; но это не воспоминание... Какая-то обнаженность, молодая беспощадность сознания или последняя прямота. Торжественное стояние перед лицом еще не распахнувшейся жизни или перед придвигающимся концом.

А в промежутке — чего только не было. Вспышки невозможного счастья

и бухгалтерски точные, до скуки предсказуемые катастрофы. Неблагодарный труд. Безмолвствующий страх. И попытки жить не как люди живут и опыты — быть как все. Хотя жить не как все — это не способ жить, а быть как все — вовсе не материал для опытов.

Творящему свойственно томительное ощущение ускользающего, даром растраченного времени, как ему свойственно мучаться тем, что сделал меньше, чем мог сделать. Иначе расценивают достигнутое люди со стороны, особенно те, для кого данный человек стал уже фактом истории. Они судят его только по делам его. Нам важно, что Грибоедов создал «Горе от ума»; мы равнодушны к тому, как он мучался тем, что не создал ничего другого. Не все ли нам равно, что Пруст начал писать в 40 лет, раз он успел написать все, что нам нужно от Пруста. Но каково было великому писателю жить до 40 лет, не имея силы преодолеть душевную лень. Дарование — самая жестокая совесть.

То ревность по дому,
Тревогою сердце снедая,
Твердит неотступно:
Что делаешь, делай скорее.

У нас есть «Анна Каренина», и что нам за дело, если Толстой, работая над «Анной Карениной», говорит в письмах о своем отвращении к этому роману, о том, что ему нужно совсем другое.

В нашем отношении к творцам есть какая-то торопливая утилитарность. Нас интересует продукция, а остальное — причуды знаменитых людей, частное дело на разживу биографам.

Люди рационалистические со слабо развитыми инстинктами равнодушны к своему детству. Они его плохо помнят. Чем больше у человека нутра, интуиции, тем тверже он убежден в подлинности своих невозможно ранних воспоминаний. Толстой не сомневался в том, что он помнит, как его годовалого или двухгодовалого купали в корыте.

Один матерый редактор развивал как-то с впечатляющей искренностью передо мной свое кредо. Он считает, что в книге автор большого значения не имеет, так как автор несет за книгу незначительную долю ответственно-

сти. — Ну, что вам, например, такое делается? Ну, обругают и оставят. А уж меня как редактора так будут таскать и таскать, будут с песком протирать на каждом совещании, на каждом заседании . . . через пять лет не забудут.

А теперь у них новая беда: литературная жизнь опять колебнулась в либеральном направлении. Предыдущее колебание напугало аппаратчиков. Им представилось, что вдруг обнаружится, что без них можно обойтись. Что общего государственного руководства (плюс Главлит) окажется достаточным для того, чтобы литература выполняла предназначенные ей функции. Они так испугались, потому что при первой возможности неудержимо поползло во все щели желание избавиться от них; тоска по их небытию. Был период, когда об этом говорили на всех собраниях; и не было молодого рифмача, который не выступал бы и не говорил об этом в уверенности, что только редактор мешает ему быть поэтом. Это было смешно, но аппаратчики не смеялись. Потом выяснилось опять, что нужно предострашать, и они совсем было успокоились. И вот опять ситуация ускользает.

При непоследовательности оперативных действий административно-литературная система сразу начинает распадаться, а при последовательности — того хуже: наступает несуществование предмета воздействия, то есть литературы.

Имея неограниченное право централизованного руководства той или иной областью бытия, очень трудно воздержаться от руководства. В каждом данном случае администратору кажется — он знает нужное решение и он может беспрепятственно его осуществить. Неужели же искусственно — из теоретических соображений — самому создавать проволок, дебаты, борьбу мнений? Неужели нарочно сделать быстрое тягучим, прямое извилистым, ясное — запутанным, шумным, бесполовым . . . Представьте себе человека, добровольно отказывающегося от возможности осуществить то, что он считает правильным или выгодным — психологически невероятно. Следовательно, единственный практический выход состоит в том, чтобы у людей не было бесконтрольных возможностей. Чтобы они перестали владеть волшебной палочкой.

Берег реки у дачного поселка. Жухлая травка, подернутая соломенной проседью, — вся в консервных банках, скопанных газетных обрывках, растоптанных коробках от папирос. Лепешки коровьего дерьма среди всего этого выглядят удивительно благородно.

Воспоминания Горького о Толстом принадлежат к лучшему из написанного Горьким и, сколько я знаю, лучшее из написанного о Толстом, о личности Толстого.

Беда воспоминаний о великих людях в том, что часто их писали — дураки, приживальщики, дамы и т. п. Глупому человеку легче понять слова умного человека (общий их смысл), нежели воспроизвести эти слова. Воспроизвести их он не может (если он не стенографистка), сколько бы он ни старался быть точным, как не может неграмотный человек передать текстуально речь интеллигента, хотя бы он понимал ее смысл и направленность.

Поэтому сочетание: Горький о Толстом — редкостное и в высшей степени важное.

В Переделкине посетила Шкловского (у него там дача). Мы не виделись много лет. Для 87 лет он выглядел хорошо, но плохо ходит; нога забинтована.

Говорил он много и возбужденно, под конец устал. Он говорил бы точно так же, если бы к нему пришла аспирантка первого курса. Это ему все равно. Объяснял мне про психологический роман — в психологическом романе обязательно должно быть противоречие.

Говорил и про книгу «О психологической прозе»:

— Ну, про Толстого — вы понимаете — я и сам знаю. А где вы про французов, там я меньше знаю материал, так что мне было интереснее...

Ему жаль, что у меня не освещены сексуальные извращения Руссо. Интересная тема...

Он наглухо отделен от другого, от всякой чужой мысли. Другой — это только случайный повод. Ему кажется, что он все еще все видит заново и все начинает сначала, как 65 лет тому назад.

1980

106

В тридцатых годах я несколько раз читала Ахматовой фрагменты из моих эссе.

Между прочим она сказала:
— Очень точно о любви. Даже неприятно слушать.

Я гордилась оценкой столь великого знатока в этом деле.

200-летие со дня рождения Батюшкова. Маленькая газетная заметка. Она начинается: «ПРЕДШЕСТВЕННИК ПУШКИНА. Духом свободомыслия было проникнуто творчество великого русского поэта Константина Николаевича Батюшкова». Здесь в тринадцати словах сосредоточена работа по меньшей мере трех сильно действующих социальных механизмов. Во-первых, привычка к чинопочтанию — Пушкин самый главный начальник, и нужно как можно больше ему кланяться. Батюшков сам по себе не релевантен, он — предшественник. Во-вторых, привычка к политическому передергиванию. В Батюшкове, для вящего славословия, крупным планом показано вольнолюбие. В третьих, привычка (со сталинских времен) к гигантомании. Батюшков поэт пленительный, но великим его никогда не называли, и это как-то совсем к нему не подходит. И все это приходится на тринадцать слов.

Какая емкость безмыслия!

1987

Интервью с функционером Академии художеств. Суть его высказываний сформулирована так: «... Уже не в первый раз приверженцы модернизма пытаются «плотеснить» реалистическую станковую картину. Вот и сегодня под видом перестройки кое-кто пытается рассматривать ее как застойное явление, как стереотип, который, дескать, надо сломать. За этой атакой мне видится попытка ревизии марксистско-ленинской эстетики, фронтального наступления на принципы искусства социалистического реализма». Интервью в целом — развертывание этой формулы (на пяти газетных столбцах).

Но есть там одна маленькая фраза... Ведущий беседу спрашивает — а не следует ли из вышесказанного, «что такого рода (модернистского) выставки вообще не следует устраивать?»

И функционер отвечает: «Запретительство в искусстве (разумеется, кроме пропаганды антисоветизма, расизма, порнографии) неприемлемо. Оно дает обратные результаты».

Маленькая фраза стоит многого. Вдохновители бульдозеров, которые кромсали неканонические полотна, — почувствовали, что запретительство — такое ясное и успокоительное — сейчас не срабатывает, что надо к этому приспособляться — приспособляться они натренированы.

Так маленькая фраза свидетельствует о больших изменениях.

Всю жизнь пишу о реализме. Но, в сущности, меня никогда не интересовала практика среднего реализма (средний романтизм, впрочем, еще хуже). Интересовал меня, с одной стороны, самый принцип психологического реализма; с другой — Толстой, Чехов... Гоголь, Достоевский, Салтыков — это другое. Из русских прозаиков XIX века, которых хочется читать, остался еще Лесков. Не знаю, включается ли он в пределы реализма. Поскольку последний критерий реализма — детерминированность человека и детерминированность процесса поведения.

Есть и носители дремучего реализма. Они пишут так, как если бы XX века — включая и Чехова — никогда не существовало. Разве что Куприн. Как если бы не было и Горького, который писатель XX века, особенно в «Климе Самгине».

Все это литература самодействующей темы. Без всякой писательской мысли.

Вот человек написал о любви, о голоде и о смерти.

— О любви и голоде пишут, когда они приходят.

— Да. К сожалению, того же нельзя сказать о смерти.

В квартире Пушкина новая экспозиция. В спальне Пушкина — проходной по тогдашнему анфиладному принципу — поставили ширму, за которой нет ничего — к разочарованию заглядывающих за ширму посетителей.

Один из них спросил экскурсовода: — Скажите, а Дантес тоже жил в

этой квартире, когда женился на Екатерине?

По телевидению показали обсуждение проекта молодежных передач. Один из организаторов сказал, что предполагается специальная молодежная передача для людей лет до 35-ти, — когда они уже не юноши, но еще не достигли зрелости.

Вдумайтесь в состояние общественного сознания, которое считает, что человек в 35 лет находится на ступени развития, требующей особых, приспособленных к его разумению текстов.

Как героическое воспринимается поведение людей, рискующих жизнью в политической борьбе или, скажем, в космических полетах. Они индивидуально отмечены. Но на войне миллионы самых обыкновенных людей, далеко не всегда по природе храбрых, ежеминутно рискуют жизнью и делают то, что от них требует ситуация войны.

В одном случае выбор, разумеется, общественно обусловленный — и все же психологически свободный; в другом — социальное принуждение. Не обязательно быть народовольцем, но быть военнообязанным — обязательно.

Потолок, последний предел героического — жертва жизнью. Война XX века превращает этот высший нравственный критерий в обыденную норму, в расхожее требование от любого человека, в том числе тылового (домашние хозяйки обязаны были дежурить на крыше и тушить зажигательные бомбы).

Конечно, на войне уклоняющегося ждут страшные кары. Смерть, которой он хотел избежать, ждет уклоняющегося с еще большей неизбежностью. Но в основном человеком управляет не страх расплаты, а всеилые нормы социального поведения. Человек широко нарушает такие нормы, но, по возможности, тайком. Трудно нарушать, если он на виду, если он просматривается своей референтной группой. Средняя норма поведения тем обязательнее, чем крепче и активнее референтная группа. Война скрепляет референтную группу круговой порукой жизни и смерти.

Социальные механизмы всемогущи. Высший, предельный акт самоотвержения (символ его искупительная жертва

Христа) они могут сделать параграфом военного устава, предназначенного для общего употребления.

Социальные механизмы поведения столь могущественны, что они управляют эмоциями, страстями. Они способны тормозить рефлекс, реакции на раздражители.

Поведение русского дворянина первой половины XIX века — удивительная смесь щепетильности, раздражительных требований чести и наследственных навыков смирения, воспитанных практикой самодержавно-полицейского государства.

Известно, по каким почти несуществующим причинам неоднократно стрелялся Пушкин. Соллогуб, по поводу собственной, едва не состоявшейся с ним дуэли, говорит, что Пушкин «по особому щегольству его привычек не хотел уже отказываться от дела, им затеянного». Соллогуб же в своих «Воспоминаниях» рассказывает о том, как Пушкин читал ему свое письмо к Геккерну: «Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того стра-

шен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти?»

Но вот против Бенкендорфа африканское происхождение не сработало. А Бенкендорф писал хамские письма с хамскими наставлениями. Конечно, они больно задевали пушкинскую социальную травму, мучили обидой, глухой злобой. Но сокрушительные рефлекс раньше были обузданы. Вместо «щегольских привычек» заданные условия социального устройства. Действия Бенкендорфа (как и царя) — за пределами кодекса чести. Они полицейское табу.

Ходасевич говорит, что удачно занимались жизнотворчеством те, кто не были большими поэтами.

Беда в том, что жизнь в целом не поддается эстетизации. Производится искусственный отбор; следовательно, это не жизнотворчество, а сотворение спектакля из материалов, мало к тому пригодных.

Другое дело — стремление в жизни все исчерпывающе осознать, присущее именно большим писателям.



Иварс Пойканс.
Портрет с ушами
и галстуком

ПЕРВОПЕЧАТНИКИ РИГИ

Сведения о приобретении печатных книг за границей для нужд города Риги имеются начиная с 1470 года. Книги в Прибалтике распростирались странствующими купцами главным образом из Германии, Польши и Нидерландов. До сего времени сохранился молитвенник на латинском языке, напечатанный в Любеке. В 1521 году он был приобретен братством латышских транспортников — лигерами.

Зарубежные типографии иногда выполняли специальные заказы города (в 1513 году в Амстердаме напечатан молитвенник «*Breviarium... Rigenensis ecclesiae*»). В Кенигсберге издан календарь на 1565 год, составленный рижским врачом Захарием Стопием.

О собраниях инкунабул, палеотипов и других книг XVI века можно судить по фондам Рижской городской библиотеки (ныне Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвийской ССР), основанной в 1524 году. В настоящее время в библиотеке хранится более 200 инкунабул, изданных в Париже, Антверпене, Брюсселе, Риме, Венеции, Флоренции, Базеле, Нюрнберге, Лейпциге и других городах; часть из них попала в Ригу уже в конце XV — начале XVI века.

В 1525 году в Германии была напечатана первая из известных до сего времени книг на латышском языке. Впоследствии книги на латышском языке стали издаваться в Вильнюсе и Кенигсберге. К концу XVI века одни только иностранные издания переста-

ли удовлетворять все возрастающие потребности города. Образуется более широкий круг интеллигенции — так называемые рижские гуманисты, педагоги Рижской домской школы, юристы, члены рижского магистрата и др. Почти все они были немцами, позднее слой интеллигенции весьма незначительно пополнился выходцами из Польши и Литвы. Печатное слово в своих интересах пытаются использовать враждующие между собой лагеря католиков и лютеран.

Рижский магистрат приглашает из Антверпена книгопечатника Николая Моллина (*Nikolaus Mollin. Nikolaus Mollinus*), напечатавшего свое первое издание в Риге в 1588 году. Два года спустя согласно распоряжению рижского магистрата и привилегии, предоставленной королем Польши, Н. Моллин был официально утвержден книгопечатником города. Эти документы регламентировали юридическое и экономическое положение типографии, обеспечивали Н. Моллину преимущественное право на продажу книг и охраняли его издания от перепечатывания. Однако наряду с этим они несколько ограничивали деятельность Н. Моллина, лишая его возможности расширить типографию. Оборудование типографии частично принадлежало городу; магистрат сохранял за собой право вмешиваться в процесс производства, регулировать цены на книги и воздействовать на выбор издаваемых произведений. Инспектора магистрата осуществляли цензуру над изданными работами.



Титульный лист напечатанного в Риге в 1598 году теологического, этического, исторического рассуждения Георга Циглера «О непостоянстве мирских дел»

Кроме того, издания Н. Моллина находились под надзором консистории лютеранской церкви. Экономико-юридическое положение Рижской городской типографии и разного рода феодальные ограничения существенно отличают ее от крупных предприятий капиталистического типа в Западной Европе и от Московской типографии, которая являлась государственным предприятием.

При передаче магистратом типографии Н. Моллину было оговорено, что в ней должно действовать не менее двух станков; оборудование по мере необходимости владелец типографии должен был приобретать сам. Типография должна содержаться в хорошем состоянии. Следовало принять помощника, который мог считать корректуру на латинском и немецком языках. С Н. Моллина было взято клятвенное обещание в том, что он будет остерегаться ереси. На него была возложена обязанность выполнять главным образом заказы магистрата, духовенства и городских школ.

60 экземпляров из всех городских заказов Н. Моллин должен был безвозмездно передавать магистрату.

Привилегия, предоставленная Н. Моллину, предусматривает, что изданные Рижской типографией книги в Польше не должны перепечатываться. В случае перепечатки книг за пределами Польши их запрещалось ввозить. Только Н. Моллин имел право печатать календари для нужд города. Так как главным источником дохода типографии являлась продажа изданных книг, правом продажи кроме книгопечатника пользовался еще только один книготорговец. Приезжие торговцы имели право продавать книги только в течение короткого промежутка времени, например на ярмарках.

Отстаивая интересы Н. Моллина, магистрат отклонил предложение о создании в городе нескольких магазинов для торговли книгами и оборудовании второй типографии. Кроме того, он не поддержал просьбу рижских переплетчиков разрешить и им продавать книги. Н. Моллина освободили от уплаты налогов и выполнения различных обязанностей рядовых горожан; от городского магистрата он ежегодно получал 100 талеров. Для стабилизации его материального положения магистрат выделил ему бесплатную квартиру, а в 1594 году предоставил заем в сумме 400 талеров для расширения типографии.

До нас дошло сравнительно мало сведений об оборудовании типографии Н. Моллина, которое полностью приобреталось заново. Думается, что большую роль в этом сыграли связи Н. Моллина с одной из типографий города Виттенберга. В распоряжении Н. Моллина, без сомнения, не было той техники, которой в те времена уже были оборудованы крупнейшие центры книгопечатания Европы. Не было ни известных резчиков по дереву, ни граверов по меди. Инвентарь был частично изношен, иногда доставало необходимых шрифтов. Так, в первые годы существования типографии Н. Моллин не мог напечатать цитаты на греческом языке, поэтому претензии к нему рижских гуманистов того времени вполне обоснованы. В годы войн и беспорядков особую трудность составляло приобретение бумаги.

Качество напечатанных Н. Моллином книг в целом довольно невысоко, хотя есть и приятные исключения. Титульные листы его изданий были слишком загромождены типографским орнаментом в стиле барокко. Иллюстрации главным образом аллегорического характера, довольно много резьбы по дереву, клише для которой только в редких случаях было изготовлено на месте, в Риге. С течением времени Н. Моллин старался улучшить качество своих печатных работ; его последняя работа — произведение суперинтенданта Лифляндии Германа Самсона «*Himlische Schatzkammer*» со своими иллюстрациями и орнаментами находится уже на уровне лучших печатных работ того времени. Вызывает удивление высокое мастерство рижских переплетчиков, что лучше всего проявляется в экземплярах книг, подаренных Н. Моллином городским патрициям. Белые и коричневые кожаные переплеты отделаны бронзовыми коваными украшениями и золочеными виньетками.

За период с 1588 по 1625 г. Н. Моллин, по нынешним подсчетам, напечатал около 179 изданий, главным образом на латинском и немецком языках; только три из них были на латышском, одно на финском и одно на шведском языках. Количество изданных Н. Моллином книг по годам издания распределяется весьма неравномерно. За первые пять лет вышли в свет 19, а в течение только 1599 года — 16 изданий. Однако печатная продукция собственной типографии не могла упрочить материальное состояние Н. Моллина, поэтому он пытался наладить связи с другими городами Европы. Для нужд рижской интеллигенции он, например, закупал книги на Франкфуртской книжной ярмарке. Печатные издания самого Н. Моллина в каталогах ярмарки упоминаются только один раз, поэтому можно считать, что служили они в основном для местного сбыта.

Печатные работы Н. Моллина — это в большинстве своем статьи по богословию, трактаты по юриспруденции, философии и истории, календари, приветственные стихотворения и различные распоряжения рижского магистрата. Думается, что не сохранилась самая первая его книга, напечатанная в 1588 году, — Рижский песен-

ник; но в нашем распоряжении имеется изданное в том же году поздравительное стихотворение на латинском языке Ансельма Боциуса королю Польшы Сигизмунду III («*Carmen gratulatorium*»). В издании 1589 года «*Libellus ethicus scholasticae*» содержатся сведения о рижских школах того времени, а в календаре на 1590 г. видим впервые напечатанный в Риге силуэт города, выполненный резьбой по дереву.

Из изданий античной филологии можно упомянуть напечатанный в 1594 году «*Elementa Linguae Graecae*» и изданное в 1614 году собрание писем Цицерона. Представляет интерес напечатанная в 1619 году работа Георга Манцеля о землетрясении в Латвии 20 июня 1616 года. В 1612 году Н. Моллин издает краткий очерк истории Лифляндии, к которому приложена гравюра по меди, изображающая широкую панораму



Первый словарь латышского языка, составленный Георгом Манцелем, изданный Герхардом Шредером в Риге в 1638 году

Риги. Здесь видим не только архитектуру того времени, но и городской транспорт, корабли на Даугаве, одежду горожан — представителей разных сословий, предметы быта и обычаи. Кроме того, видим рижан-латышей, отличающихся от остальных горожан особенностями своей одежды. В 1593 году Н. Моллин печатает составленный магистратом «*Reformierte Kost und Kleider Ordnung*». Это так называемое запрещение роскоши, направленное главным образом против попыток горожан низших сословий одеваться более изысканно. Следует упомянуть изданное Н. Моллином в 1622 году на латинском и немецком языках описание осады Риги во время польско-шведской войны («*De expugnatione civitatis Rigenis*»), которое дополнено гравюрой по меди, изображающей Ригу и ее окрестности. Виды и гербы города напечатаны и в других работах, изданных Н. Моллином.

В 1615 году выходит в свет единственное издание Н. Моллина на латышском языке, которое он печатает на собственные средства по распоряжению магистрата. Это новое издание настольной книги лютеранской церкви с текстом богослужений в 3-х частях «*Psalmum und geistliche Lieder...*», «*Evangelia und Episteln...*», «*Enchiridion*»). Это издание Моллина является одним из наиболее значительных и самых крупных по объему, отделкой которого он очень гордился. Оно доказало необходимость издания книг на латышском языке в самой Риге.

После смерти Н. Моллина с 1625 и до 1657 года типография перешла в руки Г. Шредера, который в общих чертах продолжил традиции Н. Моллина. За время его деятельности значительно увеличился объем издаваемых работ. Заслугой Г. Шредера является существенное усовершенствование оборудования типографии; его печатные работы находились на уровне лучших изданий Западной Европы. В связи с длительными религиозными войнами в Европе рынок сбыта книг намного сузился, большие трудности представляла и доставка бумаги. Себестоимость издаваемых Г. Шредером книг была выше себестоимости книг в Германии. В 1657 году магистрат, например, получил жалобу, что Шредер повысил стоимость одного

печатного листа с полутора государственных талеров до двух талеров; но Шредеру удалось оправдаться всеобщим повышением стоимости. С течением времени Г. Шредеру становится трудно выполнять заказы магистрата за свой счет, а также печатать и другие издания. Так, в 1645 году Шредеру доверяют напечатать текст мирного договора между Швецией и Польшей. Впоследствии выяснилось, что оттиск не вполне соответствует оригиналу, а между тем подобные издания уже напечатаны в Германии и в Ревеле; Г. Шредеру удалось реализовать только каких-то 25 экземпляров.

Деятельность Г. Шредера сопровождалась неоднократными конфликтами и тяжбами с переплетчиками Риги. Г. Шредер пытался оставить за собой монопольное право на продажу книг. Переплетчики старались сами сбывать книги, оставляя за Шредером право продажи непереpletенных книг. Магистрат в спорных вопросах обычно становился на сторону Шредера. Открыть специальные книжные магазины переплетчикам не разрешили, но предоставили им право продавать книги определенного типа, например переплетенные ими календари или песенники. Следует упомянуть, что монополию Шредера иногда пытались поколебать (особенно во время ярмарок) приезжие торговцы из Швеции, Германии и других стран. Календари, например, продавали торговцы скобяными товарами и мануфактурой.

За время деятельности Шредера возросло число изданий на немецком и латышском языках, больше печаталось книг и учебников светского содержания. Конечно, было достаточно еще и так называемых проповедей, направленных против мнимых ведьм; работы, рассказывавшие об истории и этнографии Латвии, в действительности являлись искажением истории (например, произведение суперинтенданта Курляндии Паула Эйнхорна).

В 1631 году в Риге была основана гимназия, и Шредер старался удовлетворять растущие литературные запросы горожан. Он печатал много азбук, словарей, счетных книг, лексиконов, грамматик. В издании Г. Шредера неоднократно выходит «*Stratagema oeconomicum Oder Ackerstudenti*» — справочная книга по сельскому хо-



Рига в 1601 году

зайству местного автора Соломона Губерта. Работа эта была настолько популярной, что М. В. Ломоносов в годы учения переводил эту книгу на русский язык.

Основной заслугой Г. Шредера явилось издание довольно большого количества книг на латышском языке, что способствовало дальнейшему развитию литературного языка и книжного дела в Латвии. В 1631 г. вышла в новой редакции настольная книга «*Lettisch Vademecum*», повторно она издается в 1643 году. Предисловие к этому изданию напечатано уже и на латышском языке, что свидетельствует о том, что Г. Шредер принимает во внимание не только читателей, владеющих немецким языком, но и небольшой контингент латышских покупателей. В 1654 году был напечатан сборник проповедей Георга Манцеля «*Langgewünschte Lettische Postill*», до сих пор не утративший своего культурно-исторического значения. Менее значительной представляется изданная в 1644 году первая грамматика латышского языка

И. Рехехузена, а составленный Георгом Манцелем словарь «*Letius*» (1638 г.) стал основой для всех последующих латышских словарей. В хранящемся в фонде редкостей Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвийской ССР экземпляре, например, найдены сделанные от руки заметки по лексике латышского языка: народные песни, пословицы, поговорки.

В заключение следует сказать, что, несмотря на многократные войны, надежное политическое и экономическое положение Риги, первые книгопечатники города успешно справились со своей задачей: были заложены основы книгопечатного дела, частично удовлетворены интересы читателей, признана необходимость издания книг на латышском языке. Рига стала одним из ведущих центров книгопечатания в Восточной Европе. Несомненно, ограничения, создаваемые феодальной администрацией города, со временем стали существенным препятствием для дальнейшего развития книгопечатания и распространения книг.

Обзоры, размышления, рецензии

Андрей ЛЕВКИН

ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ «БЕСТСЕЛЛЕРА»

Вряд ли разумно пытаться вместить в рамки аннотации пусть даже самый краткий разбор этих четырех произведений. Тем более, что и при любом объеме критики заключить их в рамки одной работы возможно, лишь обратившись к материям внешним: общекультурным, политическим. Или на их примере описать среду, в которую все четыре погружены — русскую литературу последних шестидесяти лет. Впрочем, две эти вещи столь прочно сцеплены друг с другом, что говорить о них раздельно нельзя.

«Первопричина», породившая жизнь последних шести десятилетий, для латышского читателя находилась и находится «за границей». Находилась за границей государственной, находится — за временной. Жившим в Латвии посчастливилось (или «посчастливилось», посчастливилось все же) застать не весь процесс, а вторую — не основополагающую — его половину. Происходившее в России начиная с двадцатых годов в части общей ситуации читателю, надо полагать, уже более-менее известно. Все это, разумеется, оказало влияние и на «ход развития русской словесности» — а тут латышский читатель застал уже окон-

чание этого «развития»: устоявшуюся, монолитную советскую литературу, прошлое которой невиднато, а корни — недостижимы. Литература эта как бы всегда была такой, какой стала.

По адресу обретающей новые черты и нравы русской литературной жизни О. Э. Мандельштам писал в своей «Четвертой прозе» («Родник», 1988, № 6): «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух...» Но в конце 1929 года, когда создавалась «Четвертая проза», Осип Эммануилович не мог предвидеть возникновения третьей разновидности литературы (а может быть, предвидел и просто физически не мог — язык не поворачивался — отнести это к литературе). Эта разновидность — литература, написанная по указке. Указка причем имела обычно характер не только благого пожелания, но вид вполне конкретного технического задания. Желаящим познакомиться с методами организации подобной литературы можно порекомендовать воспоминания К. Симонова («Знамя», 1988, № 3—5). Не все, конечно, в этой третьей литературе так уж просто и грубо по-холоуйски, не каждый может разобраться в себе и понять, где он сам, а где — навязанное ему. И, разумеется, следует все время иметь в уме время и производить поправки на, скажем, искреннюю веру, порядок жизни и «черные воронки».

Так вот, ворованный воздух. С темн, кто воровал воздух, поступали — буквально трактуя метафору — по

Rasputins V. Māžu dzīvo, mužu mili.— R.: Liesma. 1988.
Astafjevs V. Skumjais detektīvs.— R.: Liesma. 1988.
Ribakovs A. Arbata bērni.— R.: Liesma. 1988.

Платонов А. Котлован. Ювенильное море.— Р.: Лиесма, 1988.

обычаям глухого арабского эмирата. Отсекая ворующую (пишущую) руку. Уничтожая для пущей надежности вообще. Их, ворователей воздуха, стало мало и своим немисливо позорным в глазах окружающих промыслом они занимались где-то в потемках, в стороне от «магистрального пути развития советской литературы».

Ворователей воздуха и появляться стало мало: трудно пробиться молодому человеку сквозь однозначность понимания целей и средств литературы. Но — появились. Здесь следует отметить еще вот что. Литература как целое до сих пор является подобием средневековой гильдии, в которую на равных правах и под одну гребенку входили цеха резчиков по дереву, стекольщиков, маляров, и живописцев — без совершившегося позднее выделения живописи в искусство, а живописцев — в отдельную «артель». «Литература» же и по сей день служит для общего наименования вполне разнохарактерных деятельностей, каждая из которых живет по своим законам, имеет отличные цели, иначе оценивает результаты работы. Литература, являющаяся аналогом живописи в средневековой гильдии, — то есть литература, непосредственно работающая с материалом: с языком, образительными средствами — всегда была одной из нескольких литератур, создаваемых без разрешения. Последняя (если брать период до конца семидесятых годов) русская школа, работавшая с формой — ОБЭРИУ. Середина тридцатых годов. С уничтожением обэриутов завершилось время интенсивного бытия русской словесности, начавшееся в начале века и вызвавшее к жизни громадное количество школ, течений и индивидуальностей. Дело тут не только в сужении понятия литературы как таковой — литература подобного рода занимает особое место среди прочих цехов, она — позвоночник всей «литературы объединенной» и предоставляет соседям возможность использовать ее результаты, а также, будучи точкой отсчета, отчетливо понять свое положение друг относительно друга и реальности.

Другой цех, род литературы, делаемой без разрешения, — литература о правде жизни — отличной от той, которую декларируют произведения разрешенные и написанные по указке.

Такая литература куда более общезначима, вокруг нее и разгорается редакторский сыр-бор по части остроты темы и извращения действительности, после чего соответствующее произведение отклоняется, хотя, бывает, и с сочувственной репликой: «для такой литературы еще не настало время» (литература «формального» толка отклонялась автоматически: «Да вы что, с ума сошли (смеетесь)?! Это же модернизм!» Или, искренне: «О чем это?»). Обе эти литературы существуют и распрстраняются в списках, читателей у них немного, зато — хорошие, представители их бывают изгнаны из страны, а также — получают Нобелевские премии по литературе.

Литературу, написанную по техническому заданию, мало-мальски культурный российский читатель, надо отдать ему должное, чуял за версту и не читал. Литература ворованного воздуха для широкого чтения не существовала, так что запросы массового читателя удовлетворяла литература разрешенная. Разрешенность, впрочем, оказалась понятием гибким. Оказалось, что тексты могут быть более разрешенными и менее разрешенными (и у искушенного читателя выработался поразительный нюх на определение степени этой разрешенности, в обратной зависимости от которой оказывалась оценка соответственного текста).

Поскольку литературой числилась лишь пишущая так, чтобы «как в жизни», то вопрос о разрешенности связывался прежде всего с содержанием текстов, то есть, во-первых, — с кругом допустимых тем, и, во-вторых, — из соответствия записи того, о чем можно, «художественной правде» этих произведений реальным процессам в обществе (процессам, которые должны были быть реальными). И благодаря этому за полвека русская литература сделалась подобием газеты, собираемой из заданного набора рубрик и жанров. Не следует, разумеется, относить создание индекса разрешенности исключительно к тридцатым, он изменялся и дополнялся по мере необходимости, зато неизменными оставались заботы публикаторов, например («Москва», 1988, № 1, стр. 66, письмо А. Макарова В. Астафьеву от 1978 года): «А позавчера приснились Брежнев и Ко-

сыгин, будто присутствуют они на каком-то партсобрании у нас, в «Знамени», и Косыгин речь произнес. Я говорю кому-то: «Вот видите, Косыгин сказал, что можно . . .». Иронично, конечно. Но ведь силось . . .

Иной раз вдруг разрешалось и что-то написанное без разрешения (праздник российского интеллигента, дыхание перехватывает: «неужели теперь? . . .»). Но редко. А в основной советской литературе все сплелось в одно: неправедность жизненная и неправда литературная. Что-то в этом было от торжества диалектики в части отрицания отрицания — тексты о жизни оказывались прям-таки фантазмагорическими. Да настолько, что все эти отнесенные ко второму-третьему сортам жанры — вроде сказки, притчи, фантастики (как все это любил среднетехнический русский интеллигент в семидесятые!) выглядели куда правдивее, нежели «литература о жизни».

И поэтому тексты болезненные, кричащие (а из соцреализма проявления болезненности, уклонения от нормы изгонялись: посчитайте-ка, сколько в советской литературе калек, убогих, юродивых, просто несчастных людей?) получали мгновенный отклик. Говорю уже конкретно о «Пожаре» и «Печальном детективе». Боль — правда, значит литература о боли правдива. И потому ее читали, перечитывали и передавали друг другу. Вопль автоматически сделался событием литературным, и даже явный крен произведений в сторону публицистики был не важен ни для читателя, ни для критиков. Тем не менее просто похерить художественность оказалось невозможным, что и вызвало к жизни попытку подать публицистичность этих двух произведений как художественность принципиально новую — по поводу «Пожара» и «Печального детектива» и возник термин «сверхлитература». Однако перелома подобного рода не произошло, термин заглох, стухевался, остались — вполне заслуженно — два этих произведения, ставшие в советской прозе и точкой отсчета какого-то нового отношения к литературе со стороны «разрешителей-неразрешителей».

Стоит, наверно, отметить еще одну причину успеха «Пожара» и «Печального детектива» у читателя. Боль всегда найдет отклик — и не только по-

тому, что отношение автора к событиям общей для него и читателя жизни будет разделено читающим, но и на уровне индивидуального бытия последнего: душевная неустроенность большинства всегда чревата внутренним воем, тихим криком — и поэтому боль авторская, имея в основе пусть даже постороннее для читателя, смешается с болью личной, станет событием его жизни. И, возможно, два этих произведения — одни из первых появившихся в периодике «крутых» текстов — заставили массового читателя осознать, что литература — дело очень серьезное. И обратили его внимание к отечественным литературным журналам.

У нас, россиян, странная особенность, выработавшаяся, похоже, за годы доминирования литературы разрешенной. Страна, в отношении восприятия печатного слова, превратилась как бы в продолженную для всех взрослых школу. Потому что разрешенное — значит, рекомендованное. Или, точнее, превратилась в помесь школы и читальни, где происходит коллективное чтение одних и тех же номеров журналов, одних и тех же авторов. Чтение — акт не столько личный, сколько общественный, каковым он, увы, и остается до сих пор (наше теперешнее журнально-газетное безумие).

Теперешнее почти хоровое чтение одних и тех же журналов имеет помимо привычки и отсутствия выбора и другую причину. Происходящее в стране по части «стирания белых пятен» истории у среднестатистического читателя (говорю без малейшей уничижительности: не все — историки или литераторы), который не имел прежде доступа к материалам подобного рода, а жил в плохо информированном кругу, может вызвать ощущение полного развала миропорядка. Люди все же привыкли жить с какой-никакой, но «уверенностью в завтрашнем дне», а для этого надо иметь ясное представление о том, где, собственно, ты живешь. А тут история у тебя за спиной перекраивается, прошлое оказывается полным кошмаров — так где мы жили, живем и будем жить? Что с нами будет? Поэтому — лихорадочное чтение в поисках ответов. И позарез необходима книга, которая в доходчивой

форме предоставила бы необходимое осознание действительности.

Одной из таких книг (одной из «новой исторической библиотеки») и стал роман А. Рыбакова. «Дети Арбата» оказались потенциальным — уже, наверное, не только потенциальным — бестселлером по нескольким причинам. Потому, что полной истории тридцатых годов дожидаться трудно (если дождемся, а если и дождемся, то это будет для специалистов). Потому, что книга по хорошему беллетристична и удобно читается. Потому, что изложение истории разложено на лица. Из-за разумно выбранных дозировки событий и схемы изложения (по своему строению роман есть что-то вроде «Медного всадника», переписанного прозой: маленький герой и черная туча, взгромоздившаяся на самый верх человечей — по расчетам — социальной системы). И потому еще что... о наполеонах читать любят. Успех книги вполне закономерен. Угнетает вот только число раскрывшихся по ее прочтении глаз — да как же их надо было держать закрытыми... Тем не менее раскрылись же все же (будем верить, что так и произошло). Не мало.

И о Платонове. В отличие от остальных книг, выходящих теперь на латышском, «Котлован» не переведен. (Собственно, трудно представить себе успех этого предприятия.) С романом связана вот какая загадка: в печати интенсивно обсуждали и «Пожар», и «Печальный детектив», и книги Рыбакова, Приставкина, Бека, Дудинцева — но не «Котлован». Лишь констатируется тот бесспорный факт, что публикация этого произведения — самая значительная журнальная публикация 1987 года. Откликов же и размышлений (например, читательских) — практически нет. То есть то ли большинством роман просто не воспринят, то ли обсуждать свое восприятие вещи люди не хотят. Почему? Сложный язык? Да, очень сложный. Изложение не простое? Да, и это так.

Или страшно читать? Или слишком уж серьезные стороны времени затронул роман? Или дело в том, что если, скажем, «Дети Арбата», «Пожар» и «Детектив» — книги о следствиях, то именно о причине этих следствий и идет речь в «Котловане»? Ведь книга создана в 1930 году, это не последующий анализ, не монтаж видеозаписи, а прямой эфир. Роман, возможно, и не вызывает острой ответной реакции — как остальные тексты — реакции на знакомое, опознаваемое. Трагедии, кроме того, болят в своих проявлениях более, чем в первопричине. А котлован «Котлована» — жерло, дыра, породившая все последующее. И, возможно, атмосфера романа своим ужасом просто заворачивает читателя, вызывает онемение речи?

У каждого писателя происходит, должно быть, раз в жизни полное совмещение с работой, и возникает произведение, в которое автор вложил полностью и в котором осуществилось, произошло полное гармоничное соединение всех элементов текста и человеческих качеств, темперамента, мироощущения самого автора. У Платонова это — «Котлован». Трудно ошибиться, назвав «Котлован» одним из крупнейших произведений русской литературы двадцатого века.

При чтении всех этих четырех книг не обойтись, разумеется, без того, чтобы постоянно помнить о времени, окружающем происходящие в них события, без того, чтобы сверяться со своим пониманием этого времени. Все они — за исключением романов Платонова, механизм взаимодействия прозы которого с читателем более сложен, — относятся к литературе такого рода, что читательский опыт и мировоззрение должны с необходимостью включаться в состав самих произведений, которые — в чем их дополнительная привлекательность для читателя — принимают свой окончательно заверченный вид лишь в ходе этой работы.

ЗАМЕТКИ О КИНОФОРУМЕ «АРСЕНАЛ»

... Всегда что-то скрыто и всегда можно что-нибудь обнаружить ...

Мы — часть группы объектов.

*Рауль Руиз. Объектные отношения
в кинематографе*

Фестиваль некоммерческого кинематографа «Арсенал» проходил в Ринге с 23 сентября по 4 октября 1988 года. За десять дней было показано порядка 300 фильмов классического и современного авангардного кино. Поскольку мне удалось посмотреть всего 24 фильма, публикуемые ниже заметки носят неизбежно субъективный характер.

Фильм чилийского режиссера Р. Руиза «Гипотеза похищенной картины» оказался во многом ключевым для понимания того, что представляет собой современный западный некоммерческий кинематограф, чего от него можно ждать в дальнейшем и — во многом — для понимания того, что представляет собой современная культура.

Фильм говорит о принципиальной неисчерпаемости восприятия мира.

Сюжет фильма заключается в том, что коллекционер, искусствовед, пожилой, усталый человек показывает невидным зрителям коллекцию картин некоего, по-видимому уже умершего, художника Теньера. В этих картинах заключена тайна: в свое время их показ вызвал общественный скандал, но что именно в картинах вызвало или могло вызвать скандал, теперь совершенно непонятно.

Коллекционер делает по крайней мере три попытки объяснить, что на картинах могло вызвать скандал. Вначале он обращает внимание на то, что луч солнца, направленный из одной картины, попадает в соседнюю картину, если его мысленно продолжить, и этим высвечивает ее содержание. Значит ли то, говорит коллекционер, что картины составляют некое един-

ство? Да, потому что это многое объясняет в их содержании, и нет, потому что, стоит поменять расположение источников света, и эта связь, которую мы якобы обнаружили, исчезнет, покажется случайной и незначительной.

С одной стороны, говорит коллекционер, картины Теньера не показывают, а лишь намекают, но с другой стороны, они не намекают, а именно показывают.

Включив свет, коллекционер объясняет, что на картине, изображающей странную казнь юноши, взоры устремлены на маску, висящую наверху под потолком. Когда же свет гаснет, маска исчезает во мраке, теперь мы не понимаем, куда устремлены взоры персонажей. Для того чтобы проделать эксперимент со светом, коллекционер показывает нам не саму живопись Теньера, а живые картины, может быть, сделанные из фигурок, которые он вынимает из своего письменного стола, а может быть — из живых людей. Мы видим, как коллекционер переходит из комнаты в комнату, среди застывших в различных позах живых людей. И нам не дается понять: что это за люди, откуда они взялись и как они соотносятся с коллекционером. Мы видим, что они живые, у них подрагивают лица, мигают веки, но в то же время они совершенно неподвижны и безучастны по отношению к происходящему, то есть к разговору коллекционера со зрителями, которых вообще нет в кадре. Эта пограничность создает множественность, модальную неопределенность восприятия.

Коллекционер показывает картину, на которой изображена сцена из семейной жизни. Известно, говорит он, что на этой картине должно быть изображено нечто шокирующее, но что именно, этого понять нельзя. Это знание утратилось. Коллекционер пытается реконструировать сцену, показанную на картине. Там изображено некое семейство: маркиз, дама, молодая девушка, знатный иностранец. Все они застыли в позах, которые действительно заставляют предполагать, что сюжет картины представляет собой нечто тревожное. Но что именно, этого мы не понимаем. Мы видим, что там что-то происходит, но не знаем, что именно. Коллекционер пытается объяснить происходящее на картине, комментируя содержание

романа, который каким-то образом связан с содержанием картины. Краткое изложение коллекционером содержания сюжета романа, представленное нам в виде живых картин, как бы оживших иллюстраций из этого романа, занимает примерно 15 минут экранного времени (весь фильм при этом длится 66 минут) и еще более запутывает нас. То есть теперь мы видим, что действительно существует связь между романом и непонятной картиной, но в целом тайна не раскрыта и стала тайной в еще большей степени. Почему существует связь между сюжетом романа и содержанием картины, является ли картина тоже иллюстрацией к роману в ряду прочих, кто такие персонажи картины (и романа), откуда они взялись и кто их придумал?

Элементов внутри композиции так много, что, высвечивая те или иные сочетания, то есть в прямом смысле меняя различные источники света, можно гипотезировать бесконечное число интерпретаций. Под конец коллекционер приходит к тому, что все, что он говорил, неверно: очередное расположение света и теней приводит его к выводу, что на картинах изображены сцены, связанные с оккультным ритуалом, что именно поэтому картины вызвали скандал и именно поэтому принципиальное понимание их или словесное выражение этого понимания — невозможно.

Уже усталый, утомленный, коллекционер добавляет, что все это не имеет никакого смысла, что слова не могут ничего передать и что надо просто молча пройти по всей композиции и попытаться ощутить ее единство. Фильм заканчивается тем, что камера скользит, «пробегает» по всей композиции, и поскольку до этого вокруг нее велось столько разговоров, и восприятие напряжено, и, так сказать, стереоскопизировано множественностью интерпретаций, то композиция наполняется величественным, хотя и непостижимым смыслом.

Фильм, конечно, вызывает множество культурных ассоциаций. Это прежде всего Борхес с его лабиринтами текстов и интерпретаций. Ср., например, новеллу «Три версии предательства Иуды». Согласно первой и общепринятой Иуда предал Христа из корысти и зависти, согласно второй, апокрифической, фактом предательства Иуда довел этическую основу

учения Иисуса до логического предела, то есть унизился до последней возможности и тем самым, по христианской этике, возвысился. Третья версия доводит вторую до логического предела: согласно ей Иуда и был Сыном Божиим. Все же у Борхеса все это в гораздо большей степени рационализировано. В фильмах Руиза момент невысказанного, иррационального гораздо сильнее, что позволяет вспомнить финал «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, где тот говорит, что обретение смысла равносильно тому, что все сказанное им до этого теряет всякий смысл.

Во многом понять фильм помогает статья самого Руиза «Объектные отношения в кинематографе», помещенная в газете «ARS» (вып. 9, газета выходила в дни фестиваля, комментируя события, рассказывая о режиссерах, рецензируя фильмы): «Но иногда эти поля взглядов не удаляются от нас. Иногда они возвращаются к нам. Во время фиесты вы смотрите с интересом на девушку, которая смотрит с интересом на солдата, который смотрит с интересом на вашу тетю, которая с интересом смотрела на вас с самого начала. Или если вы находитесь в окружении. Чтобы отразить атаку, часовые размещены таким образом, чтобы они могли одновременно видеть врага и друг друга. А враг смотрит на вас со всех сторон и особенно пристально разглядывает часовых. Как только один из них падает, это двойное кольцо взглядов нарушается. Враг знает, что часть его поля теперь невидима. Тут-то он и атакует». Вот более мистический отрывок: «Повествование — это рассказ о том, что уже произошло. Произошло ли то, что происходило? Можно сказать также, что повествование намекает на события вне нашего поля зрения: прежде, одновременно или потом. (...)

Повествование — это координация подозрений (подчеркнуто мной. — В. Р.).

Жизнь есть цепь загадок. Каждая случайность оборачивается закономерностью, люди, никогда не знавшие друг друга, оказываются тесно связанными между собой. Но человеку не только невозможно понять и проследить эти связи, человек напрочь повязан этой мистической сетью загадок, которая оборачивается ужасом и кошмаром — примерно так можно сформулировать философское наполнение двух других

фильмов Руиза, которые мне удалось посмотреть, — «Три кроны моряка» и «Слепая сова». Но эти фильмы представляются в какой-то мере более традиционными. Во всяком случае они сделаны на достаточно испытанном сюрреалистическом языке. В них более четко прослеживаются не оригинальные эстетические идеи Руиза, а некие более отдаленные философские истоки — некая смесь восточной мистики и французского экзистенциализма. Фильм о картинах интересней тем, что в нем, как мне кажется, происходит процесс преодоления техники сюрреализма. Там нет обычного бунюэлевского сочетания несочетаемых вещей. Там все на границе и весьма сдержанно. Сочетание черно-белого изображения с неподвижностью действующих лиц. Самое важное в этом фильме, что зазор между, условно говоря, «документальностью» и «художественностью» сведен к минимуму и вот-вот исчезнет. Хотя в сочетании со скверным переводом, который был, к сожалению, вообще одной из характерных особенностей фестиваля, фильм воспринимался в лучшем случае как элитарный. Зрители с него уходили толпами. Хотя и это тоже было особенностью фестиваля. Газета «ARS» публиковала статистические отчеты об уходах. В соответствии с поэтикой картины, под углом зрения которой я поневоле смотрел все остальные фильмы, и здесь не обошлось без мистики. Так, в № 9 была опубликована информация о том, что в Доме знаний с сеанса 21.00 с фильма Годара «Спасайся, кто может» в 21.35 ушел один человек. Этим «спасшимся» был я.

Но было и наоборот. Так, с фильма западногерманского режиссера Штрауба «Смерть Эмпедокла» уходили постепенно на протяжении двух с лишним часов его демонстрации, и не потому, что фильм оказался плохим, просто, посмотрев за день еще четыре фильма, зрители не выдерживали утомительной пьесы Гельдерлина, которая в этом фильме была экранизирована с буквальной точностью. На протяжении двух часов актеры стояли неподвижно перед камерой и декламировали скучнейшие предромантические монологи, да к тому же еще по-немецки. Но мне этот фильм своей поэтикой сдержанности и скупоности показался крайне любопытным, поэтому я, пересилив себя, досмотрел

его до конца, когда Эмпедокл, наконец, объявил о своем желании броситься в водопад, но, разумеется, так и не двинулся с места.

В искусстве XX века можно обнаружить две тенденции. Первая заключается в том, что текст стремится к построению, которое можно назвать калейдоскопическим — из осколков разных текстов, намеков, цитат, реминисценций и т. д. На этом строится классическая техника сюрреализма. И в определенном смысле это более простой путь. Противоположная тенденция заключается в том, что берется только один художественный язык и на него накладываются дополнительные ограничения, за счет которых и строится художественный эффект. Так, в фильме Штрауба неподвижные герои стоят на фоне изменяющегося пейзажа — по небу движутся облака, солнце заходит за тучи, меняется освещение: в результате пейзаж становится героем, а герой превращается в фон (ссылаюсь на устные выступления теоретика нового кино Евгения Чорбы). В определенном смысле это путь более сложный и менее благодарный, именно поэтому он кажется более плодотворным на исходе XX столетия, когда все эстетические блюда уже перепробованы и все слова сказаны. Поэтому об остальных фильмах «Арсенала», принадлежащих именно первому направлению, калейдоскопическому, можно говорить более обобщенно. Прежде всего это относится к единственному фильму «крутого» авангарда, который мне удалось посмотреть, — «Улиссес» Вернера Некеса и Доре О. Мне кажется, что когда средств так много, их гораздо легче растерять по дороге, как в известной истории с обезьяной и орехами. Именно ощущение орехов, сыплющихся из горсти, было при просмотре этого фильма. Хотя многие рижские авангардисты были в восторге именно от этого фильма.

По-видимому, отдельно необходимо сказать о Йоссе ван Стеллинге. Пожалуй, кого ни спроси, фильмы «Стрелочник» (1986) и «Иллюзионист» (1983) все назовут в числе лучших. При этом «Стрелочник» сделан в довольно аскетической манере, а «Иллюзионист» — в традиционной сюрреалистической. Героиня «Стрелочника», французенка, случайно отстает от поезда на заброшенном полустанке. Все дальнейшее действие фильма — взаимоотно-

шения со странным угловатым стрелочником, немного напоминающим героев Фолкнера «с редуцированным внутренним миром», этаким угрюмый Парсифаль XX века, и почтальоном (Фрек де Йонг, исполнитель главной роли в «Иллюзионисте»). Здесь, во многом реализуется треугольник Колумбина — Пьеро — Арлекин. Есть даже клюквенный сок: банка с вареньем, разбившаяся в драке, — варенье стекает с груди почтальона — Арлекина. Конец фильма отчетливо экспрессионистский — герой-стрелочник засыпает вечным сном в своей сторожке, окутанный толстым слоем паутины, а французенка продолжает сидеть на завалинке. (Что-то здесь есть от «Стрекозы и муравья» Крылова, но, вероятно, перевернутое наизнанку.)

Есть произведения, прокладывающие новые пути в искусстве, а есть такие, которые доводят традиционную технику до совершенства. «Иллюзионист» принадлежит к последним. Это история странной полусумасшедшей семейки, живущей на развалившейся мельнице. Старший брат — Фрек де Йонг, младший — Джим ван дер Вуд, будущий «Стрелочник». Зерно сюжета состоит в том, что старший мечтает о жизни клоуна, а по сути и составляет замечательный клоунский дуэт с младшим братом. Он то отправляется в цирк, где его ждут трагикомические приключения, то едет в сумасшедший дом на поиски своего душевнобольного брата.

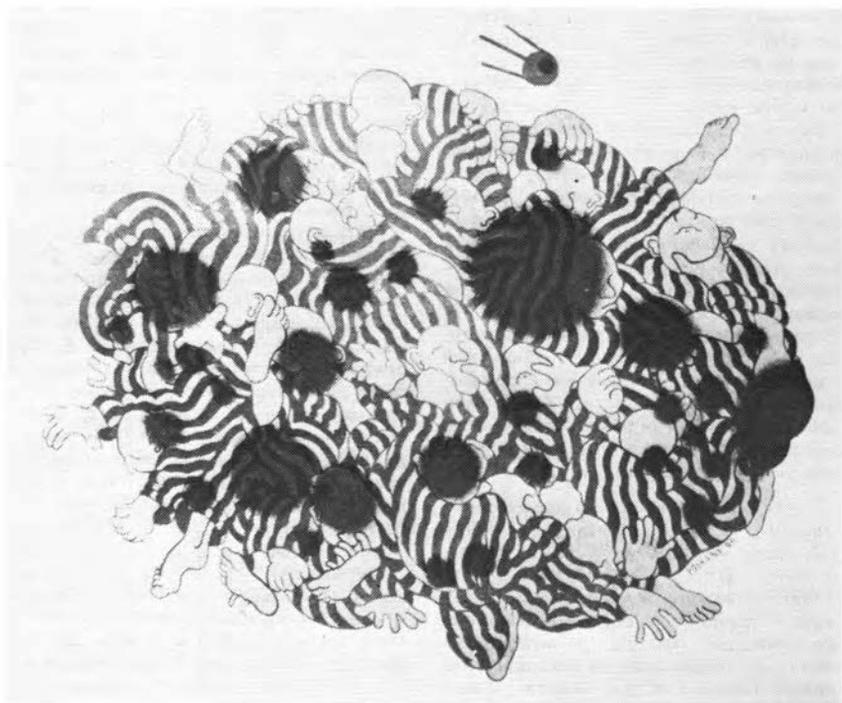
Фильм воспринимается отчасти как притча о художнике — который одновременно и беспомощен, прекрасодушен, и жесток. Поэтика фильма заключается во введении в контекст жизненных ситуаций техники клоунады. Братя близоруки настолько, что без очков не видят вообще ничего, поэтому мать срывает очки с лица одного брата, чтобы помочь другому, и тем самым делает совершенно беспомощным первого. Фрек бредет бритвой перед продраным портретом Фрейда, как перед зеркалом. Мать, забыв про детей, бегаёт по всей территории сумасшедшего дома за кошёлком, который убегает от нее, подтягиваемый неизвестно кем за веревочку. Портрету Фрейда, как, впрочем, и всем другим, делают лоботомию. Героя поражает, что его брату делают операцию, он видит тайственных хирургов, копающихся в мозгах у брата. Чтобы разобраться, в чем дело, он штудирует

структуру человеческого мозга и между делом закалывает цирковым кинжалом собственную мать. Шрам на лбу сумасшедшего брата оказывается фальшивым (во всем этом можно увидеть отдаленную полемику с фильмом М. Формана «Полет над гнездом кукушки»).

В заключение хочется сказать буквально два слова об «Алисе» Яна Шванкмайера (об этом фильме была достаточно исчерпывающая рецензия в № 9 газеты «ARS»). Фильм сделан тоже в классической манере, но при этом он, несмотря на вольность следо-

вания оригиналу, настолько точно передает дух «Алисы в Стране чудес», этого своеобразного введения в поэтику XX столетия, что его, кажется, не мог бы сделать лучше сам Льюис Кэррол. Вообще фильмы Шванкмайера и Веры Хитиловой (прежде всего «Маргаритки») показали, что чешское кино играет одну из ведущих ролей в европейском киноавангарде.

Пожалуй, такого замечательного культурного зрелища, как «Арсенал-88», Рига не видела со времен потопа. Следующий «Арсенал» должен состояться в 1990 году.



ИВАРС ПОЙКАНС: ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ В ЛАТЫШСКОМ ИСКУССТВЕ



В культуре народов других стран есть такое понятие — «контркультура». У нас его употреблять избегают, считая, что оно в основном относится к явлениям западного искусства, хотя не используют и тезис, бывший в ходу лет пять назад, характеризовавший традиции западного «андерграунда» следующим образом: «Единственная ценность, которую оставила так называемая контркультура, — это музыка «битлов». Таким образом, в навозные «отвалы истории» в свое время определяли и Энди Уоррела и Джексона Поллака,

не считая остальной мелочи. (В те годы в Латвии Иварс Пойканс был вынужден заняться столь актуальной банной тематикой, заслужив соответствующую оценку ответственного чиновника, сказавшего в адрес какой-то графической работы Пойканса: за эту работу Пойканс заслуживает «трех лет лагерей».) Используя выражение Райнса, можно сказать, что художник всегда в той или иной мере противостоит всем и всему, что позволяет данному обществу считать себя лучше всех. Вот и Иварс: родившись в 1952 году на Саркандаугаве, он рос там, пока промышленность не превратила этот в свое время сравнительно идиллический уголок города в вонючую дымящуюся свалку. «Надо мной смеялись, когда я рассказывал, что мальчишкой плескался и купался в канале». Но менялась не только среда, менялось и мышление, способ оценки мира; работникам Комитета государственной безопасности, которые в годы так называемой стагнации терзали Иварса разговорами: «Ну почему ты рисуешь такие грязные, размазанные стены? Ведь у нас столько красивых, отлично выкрашенных стен!», чтобы добиться каких-то изменений в мировоззрении неисправимого художника, отнюдь не следовало его запугивать, стремясь переделать, а надо было засучив рукава кинуться в борьбу за создание среды, достойной человека, за повсеместную согласованность слов и дел, что в те времена отнюдь не было обязательно.

Но в одном смысле мы должны быть благодарны этим годам застоя — они



Иварс Пойканс. Номосіевіуіс № 2

сформировали И. Пойканса как острейшего латышского живописца-графика (точнее — самым большим мастером гротеска в нашей современной живописи автор этих строк считает Аусеклиса Баушкениека. И у него, и у И. Пойканса есть последователи, близкие им по духу, но им еще надо доказывать своеобразие своего взгляда на мир). «Наблюдая, в каком направлении двинется наше общество, я ни на минуту не могу поверить в возрождение природы и в цветущие парки. Ибо я вижу, как лениво развивается промышленность, а в то же время загрязнение природы идет куда быстрее. И моя реакция на эту ситуацию (принимая во внимание специфику моей профессии) носит чисто художественный характер, она неотделима от оценки окружающей среды. В сущности, каждый художник в той или иной мере берет на себя функции пророка, а кто настоящий пророк, кто фальшивый — это решать публике. Далеко не самое приятное дело — быть черной вороной и каркать, что, мол, будет еще хуже. Поэтому, пытаюсь сохранить какое-то чувство юмора, я стараюсь выразить все в цвете — пусть черный, но все же юмор. И когда меня спрашивают, почему я рисую так, а не этак, я отвечаю: «У меня так получается!»

И. Пойканса сейчас ждет опасность стать модным художником — уж не ему перестраиваться, но он признается,

что если он не сможет выразить в своих работах свой образ мышления, если не найдет художественную программу, адекватную его взгляду на мир, на его ценности (борясь, непрестанно борясь с запретами!), его работы будут обладать куда меньшей ценностью, чем объективно она им присуща. Если он просто хотел бы работать, выступая «против всех и вся», наверно, пришло бы время, когда ему пришлось бы живописать сияющих от счастья сограждан, которые благостно строятся в ряды с лозунгами перестройки на устах и выполняют то, что делают все — «это идет еще со школы, где нас воспитывали в любви к общественной работе». Но как бы там ни было, некоторые негативные проявления стали столь неотъемлемой частью нашего быта, что опасения относительно их скорого исчезновения ни на чем не основаны. Выставка И. Пойканса летом 1988 года на Янъяета имела огромный успех: те самые работы, под мышкой с которыми он, скорее ради принципа, ломился в двери выставочных залов, ныне отправились за рубеж с благословения того самого чиновника, который обещал Пойкансу за них «три года лагерей» — иными словами, снова не согласуются дела и слова, и беспокоиться, что художественный почерк Иварса Пойканса потеряет свое своеобразие, у нас пока нет никаких оснований.

ЕЩЕ О РУССКИХ В ЛАТВИИ

Прочитав статью В. Дозорцева «Русские в Латвии» («Даугава», 1988 г., № 9), я решил на неё откликнуться, потому что люблю эту страну, хотя и не живу в ней.

Впервые я попал в Латвию в 1969 г., приехав с детьми на Рижское взморье. Нас опекал молодой латыш, аспирант новосибирского института, где я тогда работал. Однажды он повез нас в Саулкрасты; гуляя по городу, мы проголодались, и наш добровольный гид спросил по-латышски у проходившей мимо немолодой женщины, где поблизости столовая. В ответ раздалось резкое и раздраженное: «По-русски!» И я поразился выдержке нашего спутника: он вежливо повторил вопрос по-русски и так же вежливо поблагодарил за ответ. И потом, бывая в Латвии, я удивлялся, как часто русские там не желают замечать, что они не в России: встречался я и с высокомерным, пренебрежительным отношением русских к коренным жителям страны, к их языку и культуре. Полно, как один кандидат наук, проживший в Латвии больше двадцати лет, уверял меня, что латышский язык «очень примитивный». Такие предубеждения помогают оправдывать нежелание изучать язык, вызванное чаще всего просто инертностью и ленью. Конечно, лень и инертность — еще не самые страшные человеческие недостатки: очень многие смогли бы их преодолеть, если бы их кто-нибудь побудил с ними бороться и помог в этой борьбе. Но в том-то и беда, что в данном случае не только никто не побуждает людей бороться с ленью и инертностью, но прямо наоборот — эти качества всячески поощряются и культивируются. Я понял это, когда сам, вскоре после первого приезда в Латвию, захотел изучить латышский язык и попросил рижских друзей прислать мне учебник и словари. С трудом они достали в букинистическом магазине плохонький учебник, изданный в начале 50-х гг.; а латышско-русского словаря так и не удалось купить, пришлось заменить на латышско-немецкий. О курсе латышского языка на грампластинках смешно было бы спрашивать. Все же через два года, приехав снова в Латвию, чтобы провести отпуск в маленьком городке, где почти не было русских, я уже мог кое-как объяснитьсь по-латышски — и сразу почувствовал, какой доброжелательностью и приветливостью отвечают люди из малого народа на каждый шаг, который человек из большого народа не поленился сделать им навстречу. Потом, к сожалению, я растерял свои познания в этом языке, потому что без постоянной практики их поддерживать трудно. Но если бы я поселился в Латвии (такое намерение у меня было, когда пришлось уехать из Новосибирска, и только неудачное стечение обстоятельств помешало его осуществить), то приложил бы все усилия, чтобы добиться свободного владения языком, как добиваются этого некоторые мои соотечественники, живущие там постоянно. Но таких немного; большинству русских в Латвии оказывается не под силу хорошо овладеть языком в условиях, когда не только нет никакой системы обучения, но практически нет учебников и словарей. Многие вообще не берутся за изучение языка, заранее считая это безнадежным делом. И вряд ли здесь корень зла в простом недомыслии. Кто хоть немного знаком с организацией у нас издательского дела, тому трудно сомневаться, что дефицит словарей и учебников латышского языка (как и языков других народов СССР) обязан своим возникновением более высокому начальству, чем главным редакторы издательства и даже Госкомиздат, и создается он намеренно, чтобы затруднить русским изучение этого языка. Одновременно им в чуть завуалированной форме, но весьма настойчиво внушают,

что его и не нужно изучать: раз русский язык «добровольно выбран в качестве языка межнационального общения» всеми народами нашей страны (какое трогательное и какое знакомое единодушие!), отсюда следует, что те, для кого этот язык родной, могут не утруждать себя изучением других языков, даже если живут среди их носителей, зато все остальные обязаны выучить русский — для своего же блага, разумеется. Фактически это означает, что русских старательно оберегают от влияния языков и культур национальных меньшинств, в то время как обрусение этих последних поощряется.

В Латвии, кроме того, коренное население все больше разбавляется русскоязычными приезжими. В. Дозорцев видит причину этого «перемешивания людской каши» в простой глупости, которая «рождается сама по себе, как сорняк в поле». Но если бы это было верно, такое перемешивание происходило бы и между областями РСФСР — а я никогда не слышал о массовом завозе рабочей силы, например, в Ивановскую или Калининскую область. В России её завозят лишь в глухие, малолюдные места; и когда то же самое делается в густонаселенной Латвии, где давно нет ни одного необжитого уголка, это можно понять только как сознательную политику, направленную на постепенное растворение коренного населения в русскоязычной среде. Разумеется, это очень глупая политика, потому что она чревата возникновением взрывоопасных ситуаций. И русским, живущим в Латвии, пора бы уже понять, что если они и дальше будут позволять использовать себя в качестве орудия этой глупой, безответственной политики, то могут в недалеком будущем стать ее жертвами. Пусть русские подумают о том, что у латышей нет другой страны, кроме этой маленькой Латвии, и они не могут без боли видеть, как её превращают в еще одну провинцию громадной России с незначительным национальным большинством. Пусть попробуют вообразить, что Россия больше чем наполовину заселена, допустим, немцами, не желающими учиться русскому языку, что делопроизводство ведется в основном по-немецки, что русский человек в России сплошь и рядом лишен возможности объясниться на родном языке со своим начальником на работе или с тем, от кого он в данный момент так или иначе зависит — должностным лицом, врачом, милиционером. Какому русскому это понравилось бы и у кого повернулся бы язык обвинить в «национализме» тех, кто в таких условиях потребовал бы перевода делопроизводства на русский язык и обязательности знания этого языка для должностных лиц, медицинских работников, милиционеров? Требования, о которых говорится в статье В. Дозорцева, более чем умеренны^{*}; это самое малое из того, что надо сделать, чтобы остановить процесс, продолжение которого может поставить латышский язык и культуру перед угрозой исчезновения. И единственно разумная линия поведения для русскоязычных жителей Латвии — пойти навстречу этим требованиям, добровольно отказаться от сомнительной привилегии не знать языка страны, где они живут.

А. В. ГЛАДКИЙ,
доктор физико-математических наук
Москва

ВОЖДЬ ШОТЛАНДСКИХ РАБОЧИХ

Дорогие редакторы «Даугавы»!

Огромное вам спасибо за то, что вы начали печатать в № 7 за этот год потрясающую книгу Евгении Семеновны Гинзбург «Крутой маршрут». Спасибо и Белле Ахмадулиной, «упреждающая» заметка которой в столичной газете об этом событии позволила своевременно подписаться на ваш журнал (и уж, конечно, я подписалась и на 1989-й!). Я взяла его в руки впервые и прочли от первой до последней страницы — настолько интересными и злободневными оказались все публикации.

Не могу, однако, не отметить одну забавную опечатку, вкраившуюся в заметку Эрнста Генри «Предисловие к 3-му советскому изданию». Вероятно, она позабавила бы и самого покойного Вильяма Галлахера (человека веселого и остро-

* В канадском Квебеке, где говорят по-французски и по-английски, считается само собой разумеющимся, что, например, каждый врач должен в совершенстве владеть обоими языками

умного), о котором в этой заметке сказано, что он был «одним из руководителей английской компании», тогда как на самом деле он был одним из руководителей британской компартии.

Я понимаю, что это всего лишь корректорская ошибка, но безусловно такая, которая должна быть исправлена. Она вызвала приятное воспоминание о случайной встрече в 1961 году в вагоне поезда Лондон — Глазго с этим удивительным человеком — членом нашей журналистской туристской группы, посетившей первую после войны промышленную выставку СССР в Лондоне и направлявшейся в Шотландию — на родину Роберта Бернса.

Эта встреча была радостной для обеих сторон — Вильям Галлахер был настоящим интернационалистом и верным другом нашей страны всю его жизнь, а для нас он был ожившей легендой. Проговорили мы до глубокой ночи. С неподражаемым шотландским юмором и лукавинкой Галлахер рассказывал нам о своей встрече с Лениным на Втором конгрессе Коминтерна и был очень доволен, когда узнал, что мы очень хорошо помним о том, что именно он послужил «мишенью» для Ильича при его работе над книгой «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

Рассказывал о своих бескомпромиссных (на всю страну) схватках с лидерами тори и правых лейбористов в британском парламенте (бессменным членом которого от британской компартии он был на протяжении 16 лет); о том, какие затруднения он — абсолютный трезвенник — испытывает каждый раз на приемах в нашем посольстве, когда хозяева угощают гостей различными горячительными напитками, и о многом другом. Он мгновенно переходил от серьезного к смешному, во всем проявлялся его природный ум, ораторский талант, глубокая убежденность в правоте своего дела, которому он посвятил всю свою жизнь без остатка, и становилось понятным, почему его так любят рабочие Шотландии — шахтеры и судостроители и почему он (выходец из народа) так популярен среди них.

Извините за столь многословную попытку исправить ошибку корректора, но мне показалось уместным воскресить память об этом замечательном человеке.

К. Я. Зайцева (Москва)

Приносим извинения за досадную опечатку, в которой виноват не корректор, а литсотрудник, и благодарим Капитолину Яковлевну за интереснейшие подробности о Галлахере.

Отдел публицистики

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодниекс, Харийс Бурмейстарс, Язепс Дановскис, Виктор Жук, Мартиньш Зелменис, Атис Иевиньш, Надежда Медведева

Сдано в набор 04.11.88.
Подписано к печати 01.12.88. ЯТ 00147.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
8,0+0,5+0,25 усл.-печ. л., 14,23 усл. кр.-отт.,
11,03 уч.-изд. л. Тираж 80 000.
Заказ № 1570. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. критики и публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

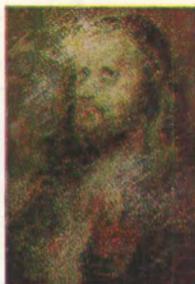
ИВАРС ПОЙКАНС

(см. материал на стр. 123)

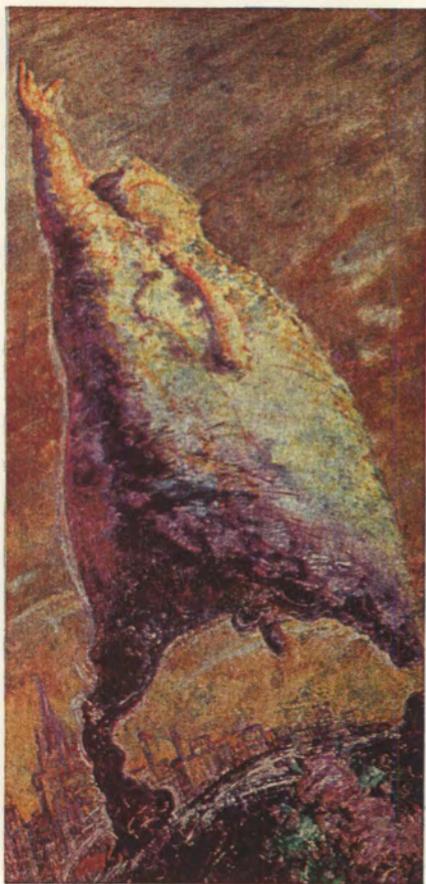
Автопортрет

Баня'83

Тревога в уборной



Идол на глиняных ногах



Автопортрет с короной



Фигуральная композиция на фоне неведомого



Праздничное утро



Слепые спортсмены



Сводна погоды

45 коп.

Индекс 77123